

Стрелец

«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли

10

\$3.50

ОКТАБРЬ 1984



«КОНТИНЕНТУ»
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

СТРЕЛЕЦ

объявляет подписку

на 1985 год

НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА В 1984 ГОДУ ПУБЛИКОВАЛАСЬ ПРОЗА ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ЮЗА АЛЕШКОВСКОГО, ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА, ФИЛИППА БЕРМАНА, ЮРИЯ ГАЛЬПЕРИНА, ЕВГЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО, ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА, ЮРИЯ МАМЛЕЕВА, ЮРИЯ МИЛОСЛАВСКОГО, ЛЬВА НАВРОЗОВА, ВАРЛАМА ШАЛАМОВА, СЕРГЕЯ ЮРЬЕНЕНА И ДР. ПОЭЗИЯ ДМИТРИЯ БОБЫШЕВА, НАТАЛЬИ ГОРБАНЕВСКОЙ, ВИКТОРА КРИВУЛИНА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ИРИНЫ РАТУШИНСКОЙ, ГЕНРИХА САПГИРА, ЕЛЕНА ШВАРЦ И ДР. ВОСПОМИНАНИЯ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО, ОСКАРА РАБИНА, ВЯЧЕСЛАВА СЫСОЕВА, МИХАИЛА ШЕМЯКИНА, ДАСИ ШАЛЯПИНОЙ-ШУВАЛОВОЙ И ДР. ИНТЕРВЬЮ С ВАСИЛИЕМ АКСЕНОВЫМ, ЮРИЕМ КУБЛАНОВСКИМ, ЮРИЕМ КУПЕРОМ, ВЛАДИМИРОМ МАКСИМОВЫМ, ЮРИЕМ МИЛОСЛАВСКИМ, ОСКАРОМ РАБИНЫМ, ОЛЕГОМ ЦЕЛКОВЫМ, СЕРГЕЕМ ЮРЬЕННЫМ И ДР.

В РАЗДЕЛЕ "ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ" ПУБЛИКОВАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. ВЕТЛУГИНА, АНАТОЛИЯ МАРИЕНГОФА, АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА И АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА.

В РАЗДЕЛЕ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" ПОМЕЩАЛИСЬ СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ И ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК НЕОФИЦИАЛЬНОГО РУССКОГО ИСКУССТВА НА ЗАПАДЕ.

В РАЗДЕЛАХ "КИНО" И "ТЕАТР" ПУБЛИКОВАЛИСЬ СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО И О ДРАМАТУРГИИ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА.

В РАЗДЕЛЕ "ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА" РЕГУЛЯРНО ПУБЛИКОВАЛИСЬ РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ РУССКИХ ПОЭТОВ И ПРОЗАИКОВ КАК ЭМИГРАНТОВ, ТАК И ЖИВУЩИХ В СССР, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ КЛАССИКОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА И СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ.

В РАЗДЕЛЕ "ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ" БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ: ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ СОЛЖЕНИЦЫНЫМ, СТАТЬЯ ВАДИМА КРЕЙДА О ПРОДАЖЕ БОЛЬШЕВИКАМИ НА ЗАПАД НАЦИОНАЛЬНЫХ СОКРОВИЩ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "ЭРМИТАЖА", СТАТЬЯ МИХАИЛА ЯКОБСОНА О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ.

В 1985 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУТ ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОЭЗИЯ, ПРОЗА И НЕОФИЦИАЛЬНОЕ РУССКОЕ ИСКУССТВО. ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАМЕЧЕНЫ К ПУБЛИКАЦИИ В РАЗДЕЛАХ "ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ" И "ВОСПОМИНАНИЯ". РАСШИРЯЕТСЯ ОТДЕЛ "ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА."

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ С ПЕРЕСЫЛКОЙ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ — 36 ДОЛЛАРОВ. ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ВО ФРАНЦИИ — 336 ФРАНКОВ.

ДЛЯ ПОДПИСАВШИХСЯ ДО 15 НОЯБРЯ 1984 ГОДА — ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: 30 ДОЛЛАРОВ ИЛИ 270 ФРАНКОВ.



Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Заместитель главного редактора
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:

НИНА АЛОВЕРТ
АРТУР ВЕРНЕР



Издательство
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Тел. редакции:
201-434-0378; 201-432-9636

Адрес редакции во Франции:
Alexandre Gleser
Chateau du Moulin de Senlis
92130 Montgeron
France



Цена номера – \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка – \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

© 1984 by "Strelets"
All rights reserved

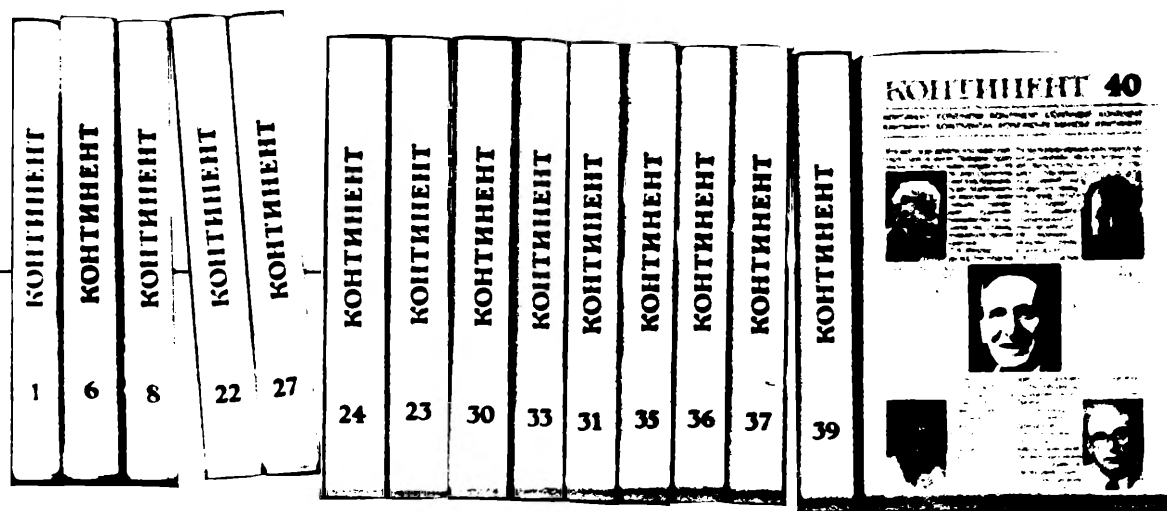
СОДЕРЖАНИЕ

- 4 У нас в гостях журнал «Континент» — 41:
Феликс Кандель — Люди мимоезжие.
Отрывок из повести
Поэзия Г. Евгеньева, Валентина (ЗЕКА) Соколова,
Валентина Пападина и Льва Лосева
- 9 Леонид Гиршович — С того света с любовью.
Рассказ
- 12 Юрий Кублановский — Под эпитафией Гете. Стихи
- 13 Сергей Юрьенен — Нарушитель границы. Роман.
Продолжение
- 20 Евгений Кропивницкий — Два стихотворения
- 21 Василий Бетаки — Есть у меня лампада,
и дерево, и Русь
- 22 Иосиф Косинский — Дети смутных лет России
- 24 Анатолий Копейкин — «Континент» № 40
- 26 А. Ветлугин — Записки мерзавца. Роман.
Продолжение
- 34 Дася Шаляпина-Шувалова — Мой отец — Шаляпин.
Воспоминания. Продолжение
- 44 Александр Глезер — Трое русских в Конгрессе США
- 46 А. Давыдов — Семнадцать русских в Пенсильвании

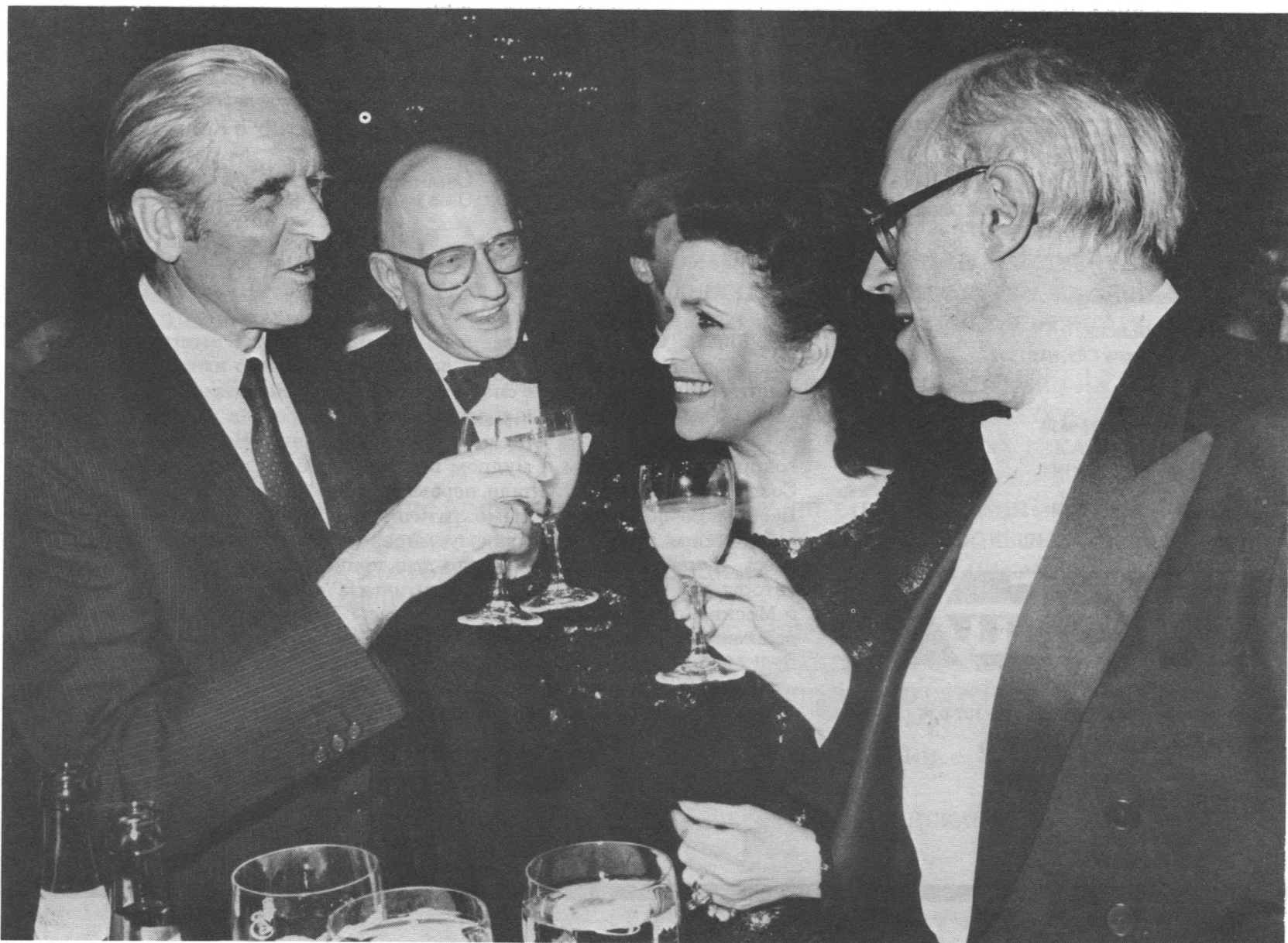
ОТ РЕДАКЦИИ

Юный "Стрелец" поздравляет старейшину нашей эмиграции со славным юбилеем и желает дальнейшего процветания во имя России! О, как многие скривятся от этих слов — славный юбилей во имя России, — сколь многие, чьи отравленные стрелы на глазах подростка "Стрельца" летели в сердце "Континента", возмутятся и возопят... Но Бог с ними! Как говорится на древнем и мудром Востоке, "собака лает, а караван идет"! Создатели "Стрельца" читали первый номер "Континента" еще в России. Бескомпромиссность и демократичность "Континента", верность его себе, своим принципам, своему мировоззрению служат примером нам здесь. И мы хотим надеяться, что день придет: и однажды мы, редакторы, авторы и младшие коллеги "Континента" соберемся в его редакции в Москве, скажем, где-нибудь на Цветном Бульваре, и будем вспоминать, вспоминать... И Париж. И Нью-Йорк. И Берлин (Западный) ... А за окном будет наша Россия, свободная Россия, вечная Россия!

Может, все это звучит слишком оптимистично? Что ж, молодости свойственен и прости́телен оптимизм. А "Континенту" многие лета, многие лета, многие лета!...



У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ» — 41



После концерта в честь "Континента". Слева направо: Президент ФРГ Карл Карстенс, мэр Кельна, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Кельн. 1984.

Феликс Кандель

ЛЮДИ МИМОЕЗЖИЕ

Отрывок из повести

Бывают друзья для радости и веселия.

Бывают друзья для горя и утешения.

Бывают друзья, которые и не друзья вроде: приходят названными — тебе не облегчение, и уходят неприметными — когда полегчало.

Бывают, наверно, и такие, что на все градусы жизни, — но кто может похвастаться ими?

— Поехали, — сказал мой невозможный друг. — Я машину купил.

— Какую еще машину?

— Хорошую. Плохих не покупаем.

— А куда поедем?

— Да хоть куда.

— У тебя и прав нет.

— У тебя есть.

И мы поехали.

Это был потрепанный "Москвич" не первой молодости, с пролысынами на резине, с бельмом на фарах, с потертостями по корпусу, будто облезлая, хорошо поработавшая на веку лошады.

— Ну! — гордо сказал мой невозможный друг. — Видишь? Захотел и купил.

— Дорого?

— Дорого, — сказал. — Но я еще не заплатил.

— А как же?

— А так же.

И показал мне ключи.

Мы сели в машину, и первым делом я стал проверять скорости. Первая воткнулась с натугой, вторая прошла легче, третья с четвертой тоже неплохо, — а где же задняя? Заднюю скорость я так и не нашел. Никак у меня не получалось.

— Одно из двух, — говорю. — Или я чего-то подзабыл, или нет у нее задней скорости.

Мой невозможный друг сидел уже по-хозяйски в машине, выставив локоть в раскрытое окно.

— А зачем нам задняя скорость? — спросил он. — Мы же поедem вперед. Трогай!

Но я не торопился.

— Если мы столкнемся с кем-нибудь, — спросил я, — то кто платит?

— Тот, кто нас стукнет, — ответил мой друг.

— Это разве машина? — говорю. — Куда ты на ней доедешь?

— Я доеду туда, где нет еще напряжения. — И хитро сощурился на меня, что бывало с ним в минуты хмельного недоверия: — Но тебя я с собой не возьму. Сомневающимся там не место.

— А кто поведет машину?

Мой невозможный друг огляделся:

— Найдем кого.

2.

Тут он к нам и подошел.

Зыристый мужичок с пузатым портфелем.

— Четыре четверки, две растопырки, седьмой вертун, — сказал сразу. — Попрошу ответ:

— Чего?! — вылупились мы.

— Ничего.

И глаза раздвоил с легкостью: один на меня, второй на друга.

Такого человека я никогда прежде не встречал. Сколько, казалось, прожил на свете, всех уже переглядел и всяких, а такого — в первый раз. Что-то было в нем непривычное, неукладистое, раздражающее и тревожащее, как знак какой на лице. Клеймо. Печать-отметина.

— Куда едем? — спросил он достаточно вежливо, чтобы вежливо ему и ответить, хотя я, если признаться, предпочел бы иной вопрос: "куда едете?"

— Я предпочел бы, — чванливо сказал мой невозможный друг, — такой вопрос: куда вы едете?

— Куда вы едете, — сказал тот, — я знаю. Вы едете туда, где нет еще напряжения. Но вам без меня не доехать.

И глаза согнал к переносице.

— Фамилия? — строго спросил мой друг.

— Анчутка.

— Должность?

— Черт вертячий.

— Дорогу знаешь?

— А то!

И мы поехали дальше.

Зыристый мужичок сидел возле меня, уложив портфель на колени, и сладко жмурился на солнце. Мой невозможный друг развалился на заднем сиденье, выставив в окно голые пятки, чтобы они остужались на ветерке, получал несравненное удовольствие.

— Это чьи же ноги... — говорил сонно, — да из чьей же... машины...

Мы ехали.

Дорога раскладывалась услужливо.

Жизнь по сторонам.

Смытые дали.

Из дверей в двери, из ворот в ворота, из поля в поле, в зеленые луга, в дальние места, путь-дорогою, сухим-сухопутьем, от востока до запада, от озера до болота, от горы и до дола, от реки и до моря, от пути до перепутья, от леса до перелесья, от стара до мала, от зверя до гада, от города до пригорода, от села до погоста.

Горы высокие, доли низкие, озера синие, леса темные, звезды светлые, небо чистое, море тихое, поле желтое: без меня — как же вы тут обойдетесь?

Как же вы обойдетесь, когда не будет уже меня?..

— Из Москвы? — спрашивает.

— Из Москвы.

А он:

— Живут в Москве не в малой тоске.

И подхихикнул.

— Из колхоза? — спрашиваю.

— Из колхоза, — отвечает.

– Как называетесь?

– Хорошо называемся: "Путь к чистилищу".

И опять подхихикнул.

– Чем хихикать, – говорю, – лучше бы дорогу показывал.

– Это мы – сейчас!

Вынул из портфеля детскую игрушку – руль на палке, с гудком, с ручкой скоростей, приладил между колен. Едет – крутит рулем, библикает, переключает скорости: совсем как я.

– Ребенку, – говорит, – везу. Наследнику. Лохматенький мой. Лохмотка. Кривой вражонок. Побаловать.

– Ну и прозвища, – говорю, – у вас. Нигде таких не слышал.

– Что вы, – говорит. – Сами удивляемся.

Тут – развилка.

Асфальт с проселком.

Основное шоссе с боковой дорогой.

Я кручу руль налево, на асфальт, он крутит направо, на проселок.

Поехали направо.

– Что вы, – повторяет, – что вы! Сами удивляемся.

Я – по тормозам!

Не работают...

А он:

– Шлохая у вас машина. Совсем никудышная. Руля не слушается, тормозов тоже. Бросьте – я подберу.

А сам крутит всю руль, скорости переключает – стартуется.

Я ему – шепотом:

– Ты кто?

А он:

– Анчутка. Черт вертячий. Сколько повторять?

Дорога хужела на глазах. Узкая – не развернуться. Выбоины. Плещи. Ямы. Колдобины. Потом камни с песком. Корни. Пеньки под колеса. Я уж и за руль не держался. Чего держаться? Он сам все делал...

Тут подлетел на колдобине мой невозможный друг, заричал спросонья:

– Поворачивай назад!

А он отвечает:

– Такого, чтобы назад, у нас не бывает. У нас бывает только вперед. Да у вас и задней скорости нету.

Тут – лесина поперек дороги.

С ветвями, корнями, сучьями.

Сунулась оттуда рожа пройдошная, кричит сильным басом:

– Стой!

Мы встали.

– Четыре четыре, две растопырки, седьмой вертун. Попрошу ответ!

А наш ему – тут же:

– Корова.

– Правильно, – говорит. – Проезжайте.

И лесина уползла с дороги.

Кто дежурит? – спрашивает наш.

А тот в струнку тянется:

– Кожедер, Сучий Потрох, Худой, Драный и Пастыпорванский.

– Продолжайте наблюдение.

И мы поехали дальше.

– Это кто? – спрашиваем.

– Нишиги, – небрежно, – Мелочь пузатая. На рубль кучка.

Тут мы выехали на бугор и встали.

Озеро внизу – глаз Божий. Орешник по берегу. Осинник. Ели трезубцами. Лист желтый. Гроздь красная. Волна светлая. Небо опрокинутое. Благодать мест невозможная.

Зыристый мужичок убрал руль в портфель и полез из машины.

Место заповедное, – сказал на прощание. – Глядеть можно, трогать нельзя. Чтобы не нарушить естественный процесс. Ясно?

– Ясно.

И быстро:

– Четыре четыре, две растопырки, седьмой вертун.

Попрошу ответ.

– Корова, – хором сказали мы.

3.

Бугор уходил книзу шелковой, переливчатой травой – мехом дивного ухоженного зверя.

Ах! – задохнулся мой невозможный друг и прямо из машины завалился в блаженство. – О светло светлая и украшено украшенная земля Русская! И многими красотами удивлена еси...

Зарывался лицом в траву. Нюхал. Чихал. Стонал. Рвал стебельки зубами. Терся животом. Полз по-ужиному. Покряхтывал. Причмокивал. Разевал обалдело рот. А потом покатилося, кувыркаясь, по склону.

Я ехал тихонько следом: тормоза работали, руль слушался, – чего еще от машины надо?

На середине склона стоял поперек длинный барак об одно крыльцо.

Горел возле костерок.

Вода вскипала в котелке.

Суровый, одорукий дед в гимнастерке, придавив ногой нож к пеньку, ловко стругал кожуру и очищенные картошки кидал в котелок.

Мой невозможный друг докатился до пенька, раскинул руки на стороны, любовно глядел снизу.

– Дед, – сказал радостно, – я тебе так рад! А ты мне рад, дед?

– На всех не наладуешься, – сказал дед строго. – Прикатился – живи.

– Экий ты, дед, – сказал друг укоризненно. – С тобой не расслабишься.

Тут сбоку, по тропке, вышел вперевалку паренек в кепочке, плотный, чубатый, бугристый, коротконогий и широкошей. Следом за ним, словно телочка на привязи, робко и покорно шла рыженькая девушка, глаза прикрывала скромно, блузку оттопыривала туго.

– Дед, – хрипато сказал парень, – пустишь?

Дед только бровью повел, и они без остановки прошли в барак.

Мой невозможный друг жадно глядел с земли:

– Дед, это кто?

– Нашенский, – пояснил дед. – Вася-биток.

– А она?

Из дом отдыха. Он их тут колупает. По списку.

Мой невозможный друг уже стоял на коленях:

– А у тебя там чего?

– База туристская – вот чего. Сорок одних коек, и все незаняты.

Мой друг возбудился сверх меры, скоком скакнул на ноги.

– Дед, давай поначалу рыбки наловим!

– Наловлено, – сказал дед.

– Дед, давай ушицы наварим.

– Наварено, – сказал дед.

Сели. Разобрали ложки. Поломали хлеба краюху.

– Дай Бог подать, – сказал дед истово. – Не дай Бог принять.

Приладились. Откусили хлебушка. Разом черпнули.

– Жидковатая, – сказал друг.

– Не ешь, – сказал дед.

Обиделся. Отложил ложку.

– Дед, да ты знаешь, кто мы?

– Не залупайся, – сказал дед.

После чего мы развязали рюкзак, достали, разлили, выпили. Дед занюхал корочкой.

– Магазиная, – сказал уважительно. У нас такую не пьют. У нас своя.

Достал, показал, бултыхнул: муть поднялась с доньшка.

– Дед, – заорал мой друг, – не открывай! Не открывай, дед, я себя знаю!

Дед не послушал – открыл.

Как кулаком ударило. Через ноздри в мозг. Бряк! – друг мой завалился. Ему от запаха плохо. Ворона на лету – бряк! И ей плохо. Один я – не бряк. Я за рулем. Мне нельзя.

– Свекольная, – сказал дед. – Сам гнал. Коня на скаку остановит.

Тут мой друг приоткрыл один глаз, посмотрел на нас с ехидным прищуром да и говорит из глубин опьянения:

– Роспись водкам. Водка из крапивы. Водка из Божьего дерева. Водка из травы чечюни. Водка из травы пионии. Кумышка. Извинь. Полугар с пенником. Да для тезоименитства государыни: коричной водки, анисовой, приказной, гвоздичной, кардамонной, кишнецовоной – по четвертной склянице.

– Вот, – говорю деду. – Знай наших! Протрезвеет – ничего не помнит.

Тут примчался на запах Вася-биток, глотнул из бутылки мутной отравы, ухнул, крикнул – и назад, в барак, за тем же делом.

Тут примчался от озера, через кусты – с лица темен, глотнул, заулюлюкал – и назад. Только пятно мокрое оставил. Одно углядели: нос с хороший сапог. Да глаз красный. Да и сам в прозелени.

Мой друг сразу протрезвел:

– Дед, это чего?

– Нежить, – пояснил дед и зачерпнул ушицы.

– Чего, чего?

– Водяник. Дедушка водяной. Погреться.

– Понятно, – сказали мы хором и оглянулись на озеро.

Озеро внизу засинело, загустело, утекала куда-то легкая, беззаботная голубизна, а взамен наливалось глухое, тягучее, томительным беспокойством ночи.

Красные гроздья заметно почернели.

Лист желтый терял на глазах цвет.

Рябь пробежала от берега, как по коже вспугнутой лошади.

Тяжелым плеснуло у мостков.

Воронка утянулась книзу, будто всосали со дна воду, и лопнула с тугим чмоканием.

Бурун прошел под орешником: мощный бурун вспененной воды.

– Сом, – сказал дед. – Конь чертов. С реки приходит. Прихватил губой бумагу, сыпал табачку из кисета, ловко укрутил ладную цыгарку одной рукой. Запалил, привалился поудобному – время к разговору.

– Ездите? – спросил для начала.

– Ездим, – ответили.

– А чего ездите?

– А чего нам не ездить?

И подлил ему магазинной.

– Дед, – спросил невозможный мой друг, – озеро как называется?

– Тебе зачем?

– Интересуемся.

– Озеро наше, – затемнил, – без дна. Никто еще не доныривал, и лесы не хватало.

– А ты при нем кто?

– А я при нем в сторожах.

И замолк, как проговорился.

Еще подлили магазинной.

– Дед, а дед. Тебе кто платит за работу? Город?

– Город, – сказал. – С вашего с города ноги протянешь.

Мне озеро платит. По инвалидности. Виновато – вот и кормит.

И дальше говорить не пожелал.

Даже стакан оставил.

Долили остатки. Вытряхнули до капли.. Пододвинули.

– Пей давай. У нас много.

Вздохнул, опрокинул, занюхал корочкой: с такого с угощения положено отдаривать.

– С нежитью, – сказал с неохотой, – на спор тягался.

Год целый не бриться, не стричься, соплей не сморкать, нос не утирать, одежды не переменять. Молодой был, озорун, дурак нагольный: взял да и выиграл. Он на меня со зла шуку и напустил.

И замолчал.

– Дед, – раскричался мой друг, – не полощи мозги! Такого и быть не бывает!

– Ясное дело, – сказал дед. – Сами не темные. Я ее потом поймал, шуку-то. Где, говорю, моя рука? Куда подевала? – И закончил с поучением: – Там она нас, тут – мы ее.

– Дед, – сдался мой друг, – а он хоть какой? Вредный или не слишком?

– Когда как, – сказал. – А ты шильцо ему кинь, мыльцо, голову петушиную. Сапог худой с портянкой – задобрить. Водочки вылей в омут, хлебушка покроши: это он уважает. Деды наши лошадь топили – на угощение. Где у нас теперь лошади? Всех перевели... Трактор, вон, утопили спьяна на тот год – ужас как осерчал, рыбу всю перемучил.

– Дед, – говорю, – а он куда девается с прогрессом жизни?

– Раньше, – сказал, – в старые времена, его уж и на развод не было: всю нежить закрестили. А нынче опять развелось. Церквей-то нету, вот и ладь с ним.

Валентин З/К (СОКОЛОВ)

Так с лицом блее снега,
По которому бежал он,
Продолжал он нить побега
Тихо, яростно, без жалоб.
Знал, что где-то в недалеком
Лагерь, хипеж, крики, слежка...
Сумасшедшим жаждал оком
Угадать: орел иль решка.
И когда тот выстрел грянул
И хлестнула кровь живая,
Топором в забвенье канул
От солдат и злого лая.
И от злых собак ушел он
В ту страну, где сон и нега.
До конца надеждой полон
Продолжал он нить побега.
И сбежавшимся солдатам
На минуту показалось,
Что навстречу автоматом
На снегу лицо смеялось.

Г. ЕВГЕНЬЕВ (Москва)

"...и продолжал
полет в сторону Японского моря".

Сообщение ТАСС

Когда молчу, тогда вполне
я разделяю ваш обычай.
Когда молчу,
тогда лечу

в ночи камчатской за добычей,
и кровь невинная на мне.

Как тошно в нашей тишине,
глухонемые мои братья!
Когда молчу — и я каратель,
и кровь невинная на мне.

Как это можно все забыть?
Ходить, как прежде, на работу
и в гости к бабушке в субботу?
На четвереньки! И завывать!

Отныне все мы наравне!
Закон — тайга. И правда волчья.
Когда молчим, мы воем молча.
И кровь невинная на мне.

Валентин ПАПАДИН

Яблоки — затылки августа
И заморозка лбы.

У ресниц наколю: "Не буди!",
"Не стреляй!" — наколю на груди.
Или в спящего целятся — или
Перед смертью меня разбудили.

Свечение ума —
Священная стихия!
И что нам дурдома,
Когда везде Россия.

Лев ЛОСЕВ

Характерная особенность натюрмортов
петербургской школы состоит в том,
что все они остались неоконченными.

Путеводитель

Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый. Горбушка
горбится. На всем грубоватый свет зеленый. Мало свету из окна,
вот и лепишь ты, мудила, цвет бутылки, цвет сукна армейского
мундира. Ну, не ехать же на юг. Это надо сколько денег. Ни
художеств, ни наук мы не академик. Пусть Иванов и Щедрин
пишут миртовые роци. Мы сегодня нахустрим чего-нибудь
попроще. Васька, где ты там жива! Сбегай в лавочку, Васена,
натюрморт рубля на два в долг забрать до пенсионера. От Невы
неверен свет. Свечка. Отсветы печурки. Это, почитай, что нет.
Нет света в Петербурге. Не отпить ли чутку лишь нам из натюр-
морта... Что ты, Васька, там скулишь, чухонская морда. Зелень,
темень. Никак ночь опять накатила. Остается неоконч. Еще одна
картина Графин, графлений угольком, граненой рюмочки
коснулся знать художник под хмельком заснул не
проснулся.

Л.Лосев (1937-?). НАТЮРМОРТ. Бумага, пиш. маш. Неоконч.

Леонид Гиршович

С того света

рассказ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В КУРС ДЕЛА ЧИТАТЕЛЯ, НЕ ИМЕЮЩЕГО ПОКАМЕСТ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ О ТАКОМ ЛЮБОПЫТНЕЙШЕМ ЯВЛЕНИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, КАК БРАНДЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, И НЕ ЗНАЮЩЕГО С ЧЕМ ЭТО КУШАЮТ.

Брандерщина, или же "Орден водителей брандеров", в нынешнем своем виде, с мифическим магистром на верхушке, со множеством запутаннейших предписаний для низовых лож, призванных выработать у их участников определенный взгляд на вещи и, в частности, на общественные отношения в свете тех ужасных средств, к коим орден прибегает в целях якобы одних, а на деле совершенно иных — для полноты картины прибавьте еще букет нелепейших обрядов, темных, как намерение нашего правительства, и бессмысленных, как это предложение (оно уже кончается) — орден этот возник не вчера. Точно не скажу, на рубеже прошлого и будущего веков. Названием своим он обязан одному из приемов военного искусства, коего суть заключается в том, чтобы... или дальше можно не продолжать, все вспомнили читатели наши? Чесменский бой, ночь, горящий русский корабль, устремившийся в гущу вражеских судов, и вот уже весь турецкий флот охвачен пламенем, и гибнет русский брандер, и гибнет басурманское воинство. Только, пожалуйста, без скороспелых выводов, хотя бы потому, что брандерское движение получило огромное распространение в среде медиков, тогда как наша ассоциативная цепочка звено за звеном уводит нас да-алеко на восток: корабль-смертник — Самсон во храме филистимлянском? Нет, совсем на восток, императору посвятивший душу свою — чашечка сакэ, моторы работают и — банзай. Причем же тут люди самой гуманной профессии, спрашивается? Посему гораздо разумней будет описывать круги над доселе неведомым явлением, сближаясь с ним плавно, а не так, что вот врезался с размаху во вновь открытую планету да и разбился — даром что ли астронома датского Браге звали Тихо. Тихо, путем выяснения второстепенных деталей приближаться к своей цели, тихо, Браге. Почему, например, сей тайный орден своих членов рассматривает в несколько странном качестве — водителей? Известно, правда, что и вольные каменщики подрядов на строительство не брали, а именовали себя так иносказательно, в знак того, что возводят храм духовный, и не верьте глупости, что предтечей их являлись всамделишные строители — мasons произошли от тамплиеров. Но, возможно, что как раз медики, в отличие от масонов, действительно позаимствовали у шоферской братии кое-что для себя. Почему бы нет? Обратимся к истории, к последнему десятилетию века минувшего, когда угроза удушения человечества посредством автомобильного транспорта нависла над миром подобно гигантским черным эстакадам, строительство которых к тому времени достигло поистине фараоновых масштабов. Практически, шофером уже был каждый. Автомобильные картели в условиях дичайшей, тупейшей конкуренции — ни о каком техническом прогрессе и речи идти не могло — не внемля отчаянным призывам беспомощных правительств, продолжали выпускать все более крошечные и все более скоростные автомобильчики (поговаривали об отмене спидометров) (и еще одна скобка: как

ЛЮБОВЬЮ



весьма характерную особенность описываемого времени подметим, что вооруженные силы какого-нибудь захудалого картелишки, официально они назывались наемной заводской охраной, в несколько раз по численности и по боевым качествам превосходили регулярные правительственные войска и полицейские соединения), тем самым множа и без того немалочисленный народ бледных трупов, чуть ли не по году содержащихся в рефрижераторах в ожидании кремации.

*Костров огонь не гаснет погребальных
Костёров огонь не гаснет погребальных
Огонь костеров не гаснет погребальных
Костер неугасимый! Погреб твоим песням
Нам внемать суждено...*

— писал поэт. Ни он, ни его возлюбленная в один прекрасный день не вернулись с прогулки. Лязг сминаемого железа, звон стекла, предсмертный крик тормозов, в отдельных случаях как лебединая песня чей-то прощальный гудок — все это заполняло собою ночные кошмары живых, не ведавших, однако, живыми ли встретят они грядущий полдень, и нередко полдень заставлял их, связанных по рукам и ногам, в обитых войлоком покоях дворца скорби.

Но самым страшным в этой разразившейся авточуме было даже не количество уносимых ею жизней, доходивших порой до... — но от цифр мы воздержимся, не то иной человеколюбец скептически заметит, что все-таки это было самым страш-

ным — а тот звериный лик, что вдруг прорвал благообразную личину, ношение которой доселе считалось неизменным для каждого члена общества. "Вскрылась она (личина) от берега до берега, так что хлынули потоки, как перед началом великой навигации..." — красочное сравнение рафинированного современника, кажется, он и поэт, что не вернулся со своей любимой прогулки... описочка, он не вернулся со своей любимой — с прогулки, друг друга не терпели, хотя и писали об одном и том же. Впрочем, кто тогда писал о другом, подать его сюда...

Перед нами выдержка из дневника школьницы, судя по слогу — отличницы. Найдена при раскопках кургана в Новом Златовище.

"Вчера, — несет девочка, — я здорово облажала Не-сы-на-парту (прозвище учительницы). Она как всегда в своем репертуаре: походила по классу, что-то пошептала про себя и потом сказала: "В наш золотой век всяк человек сделался дрянью и тряпка". Тут я не выдержала и сказала: "А почему, Гаврила Тимофеевна, вы неправильно выражаетесь, слово "всякий" до "всяк" сокращаете, чтоб с "человек" срифмовать, да?" Она затруднилась и сказала: "Любушка Гордеева, почитай-ка нам, мать, поэму, которую я вам задавала". "Это какую, там где "Не-сы-на-парту?" и все как грохнут. "Да, эту, только наизусть". Подловить меня зараза решила, а я, может, все стихи Джамбулая Джамбулаева в тетрадочку выписываю и пока каждое новое стихотворение его не выучу, ни пить, ни есть не могу. Ах, какая счастливая Султанат Султанова (эти строки, очевидно, писались до роковой прогулки поэта с Султанат Султановой). Вышла я, значит, к доске и с чувством понесла:

Джамбулай Джамбулаев. Золотой век. Поэма.

*Бессилье власть передержавших
Не остановит уж никогда
Распад адамова ядра.*

(Власти передержавшие не в силах приостановить процесс деградации личности в современных условиях.)

*Вина тому, что по дорогам
Смерть гуляет в обличье новом
Автомобильных картелей
Отнюдь не в этих картелях,*

(дает исследователям основание думать, что был подкуплен автомагнатами)

А в тех уже полулюдях,

(т.е. внутренне уже переставших быть людьми, только обликом своим еще сходных с человеком)

*Что за рулем хужей зверей.
Про них не писаны законы,
Им все равно, что где-то чья-то мать в стонах,
Что, сунув в рот два пальца ослабелых,
Уж два часа жандарм поседельный —
Иных правительство содёржать не могло —
Тужится в свисте. Нет, им все равно."*

Как мы из этого видим, правительство даже не могло снабдить их свистками. Далее в поэме повествуется о том, какие беззакония творятся этими дорожными хищниками, как без предупреждения, лишь "своей азартной похоти послушны", они внезапно

переходят из ряда в ряд, "дабы урвать местечко поудобней", или как они могут не пропустить движущийся слева транспорт (очевидно, правостороннее движение), или как совершают левый обгон, при этом выезжая на обочину, "ломаю придорожные кусты" и давя путника, "что в их тени присел украдкой". И нет от них никакого спасу. Легкость, с какой им все сходит с рук, полнейшая безнаказанность ведет к тому, что число их постоянно возрастает, а поведение день ото дня становится все наглее. Но вот "упала капля, да не в чашу" — в смысле, что чаша переполнилась и каплей, переполнившей ее, явилось то, что у одного жену убило — так и сказано: "У одного жену убило". Ночью безутешный вдовец, обведя вокруг пальца охрану (государственная) проникает в рефрижератор и выкрадывает оттуда возлюбленное тело. Подробно описывается его долгое блуждание по гигантскому морозильнику среди оледенелых трупов. Когда Челка — так звали женщину, полное же имя ее было Церлина — оттаяла, вдохновленный примером древних, муж разрезает ее на двенадцать равных кусков, которые рассылает... (следует перечень адресов: три церкви — Одинцовская, Кулича и Пасхи, и девять профессиональных союзов), после чего сам садится в машину и отправляется сотворить суд и расправу над преступником — пускай даже ценой собственной жизни, если уж иных средств для восстановления справедливости не осталось. Момент этот принято считать исходным в истории брандерского движения.

Первоначально брандер — это шофер-смертник, который намеренно использует аварийную ситуацию, возникшую по вине другого шофера, для осуществления всех возможных ее последствий, но при этом сам никакого нарушения, по крайней мере формально, не совершает. Вопреки брандерскому утверждению, что они "на дело страшное подвиглись" — лексикончик-то старообрядческий — лишь по внушению свыше и видят в себе не более, чем орудие возмездия, "орудьям не пристало же / о действиях иметь сужд", суждение? Иметь суждение о собственных действиях? — роль их как упреждающего фактора в деле снижения числа дорожных происшествий не подлежит сомнению. Иной правонарушитель теперь задумается прежде, чем совершить обгон в неположенном месте или еще какую пакость: а не брандер ли впереди? Трудно передать ту популярность, которой на первых порах пользовались шоферы-брандеры у населения. При одном только упоминании о них всех охватывал неизъяснимый трепет, тишина вдруг воцарялась полная, однако "гадали толпы в тишине, кого же славили оне", ибо имена брандеров, как живых, так и павших, были окружены строжайшей тайной. Только одно имя, речь идет о муже назабвенной Челки, История сохранила: Иван Абрамович Чулков — но уж зато на нем биографы отвели душу. Наверное, нет такого шага Абрама Ивановича (описка не наша — в подлиннике), который не был бы прослежен, соотнесен с прочими его шагами и затем доведен до сведения сотен тысяч... (нет, цифры мы еще ранее, хоть и совсем по иному поводу, уговорились не публиковать — пример, как свято храним мы данное слово) до сведения сотен тысяч умиленных читателей. И, как это часто бывает, более всего внимания было уделено школьным годам Ивана Абрамовича. Учился он из рук вон скверно, но к чести биографов отметим, что это никоим образом не утаивалось ими, а даже наоборот, всячески оттенялось, то есть, что мы говорим, применительно к особенностям рассматриваемой эпохи следует говорить "высветлялось", ибо, наконец, воссиял день, благословенный день, не только сами двоечники, но вместе с ними и вся новейшая методическая школа признала, что ученик прилежный и хорошо успевающий есть темное пятно, позор для класса и вообще

пережиток тех ужасных времен, когда первейшую свою задачу воспитатели видели в подавлении свободной воли ребенка. Инда в свете (здесь в прямом значении) этого последнего обстоятельства дирекция сочла возможным утроить плату за обучение; в классе, где Абрам Иванович просидел не один год, был устроен музей. Вот видим мы, как первый и самый почетный посетитель музея перерезает ножницами ленточку, переступает порог, у всех присутствующих трясутся губы и подбородки... ведь это же... это же Иван Абрамович Чулков, отец Ивана Абрамовича (описки! описки, черт их дери!). И так, первым переступает порог, но... не-сы-на-парту (у Любушки Гордеевой здесь подчеркнуто тремя жирными чертами) — "Не сына парту видел он, а внемал лишь погребный звон". То бишь, когда старого ввели в школу и показали парту, за которой сидел его сын-герой, он от слез, заставших ему глаза, ничего не видел, а только лишь внимал траурным звукам, доносившимся с улицы. Заканчивается поэма, а вместе с ней и уникальный дневник, такими известными уже нам словами:

*Костров огонь не гаснет погребальных,
Костеров огонь не гаснет погребальных,
Огонь костеров не гаснет погребальных,
Костер неугасимый, погреб твоим песням
Нам внимать суждено.*

Напоминаем, что поэт умер насильственной смертью.

Теперь, когда природа брандерского подвига для нас несколько прояснилась, его эмоциональная подоплека, так сказать — накидал в отравленный чай много сахара и напоследок назвал себя в умилении сластеной — теперь наступил черед рассмотрения преступной деятельности брандеров от медицины. Они также называли себя водителями, верно, полагая, что наследуют шоферам-самоубийцам конца того века, причем, обращает на себя внимание известное сходство между символическим обозначением деятельности у них и у масонов — водить, возводить — которые также в этом смысле кому-то наследовали. Был, впрочем, казус. По слухам — поскольку тайна, окутывающая брандеров, любые сведения на их счет делает недостоверными — в одной ложе подвергли сомнению самый факт преемственности, якобы, связывающий шоферов-брандеров с брандерами в белых халатах, и посему предложили "водителей" впредь именовать "воителями", считая, что выпадение одной буквы, да еще согласной, ничего не изменит в той сугубо ассоциативной лепке, которая непременно покрывает фасад всякого устойчивого понятия. Новшество, однако, не привилось, и, если верить слухам, увы, опять-таки им, академик д'Эскарп, посмертно объявленный молвою магистром ордена, назвал это прободением понятия. Вправду ли основатель подкожной хирургии одновременно являлся и главой брандеров, или же "не был отравителем создатель Ватикана", сказать трудно, принципы брандерства всегда оставались неизменными, и потому уличить в деянии такого рода невозможно — разве что только заподозрить. Упорные разговоры относительно причастности акад. д'Эскарпа к брандерству вызваны тем... как бы это попроще объяснить, ну, словом, как ни крути, а не мог он, такой маститый ученый, не видеть, что профессор Моргун — великолепный хирург, но рассеянный — собирается ввести ему в сердце вместо адреналина томатный сок. Сам д'Эскарп удалял в это время у Моргуна полипы на мочевом пузыре. Водитель-брандер, естественно, подобных оплошностей "не замечает", понимая, что и его рука в предсмертной судороге проделает в животе у злосчастного коллеги такой зигзаг, который не приснится даже тому, кто

под утро решил сделать себе харакири — знаете, это такое японское тру-лю-лю. Короче, их обнаружили: у японца, то есть что с нами, у Моргуна его мочевой пузырь торчал изо рта, рукой же он схватился за шприц, который, будучи всажен в сердце д'Эскарпа, медленно раскачивался, а со стороны выглядело так, будто это Моргун его и раскачивает.

Влечение к брандерству впервые дает себя знать: у мальчиков в возрасте тринадцати-четырнадцати лет, у девочек несколько раньше... так, это мы опустим. Далее тут говорится, что современная наука скорее усматривает в брандерстве одну из форм садо-мазохистского комплекса, нежели протест против... это, значит, мы тоже опустим. Что тут еще есть? ...Брандерство в медицине сделалось возможным только с появлением в ней такой отрасли, как хирургическая взаимопомощь, когда оба хирурга... ну, это и коту понятно. В заключение приводятся статистические данные (опускаем), а также случай явного брандерства, имевший место на прошлой неделе. Студенты Костин и Школьников встретились в операционной на предмет удаления друг у друга катаракты. В результате оба найдены с выколотыми глазами.

Читайте в следующем номере «Стрельца»

ПРОЗА: РАССКАЗЫ АЛЕКСЕЯ КОВАЛЕВА И
ЮРИЯ МАМЛЕЕВА, ПРОДОЛЖЕНИЕ РОМАНА
А. ВЕТЛУГИНА, ОКОНЧАНИЕ РОМАНА СЕРГЕЯ

ЮРЬЕНЕНА

ПОЭЗИЯ: НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ И РО-
МАН БАРОП

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ Ф.И. ШАЛЯПИНА

ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ ОЛЕГОМ ЦЕЛКО-
ВЫМ

РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ,

СТАТЬИ О ВЫСТАВКАХ РУССКИХ ХУДОЖ-
НИКОВ

**НА ЛОТАРИНСКИХ
ХОЛМАХ ЕЩЕ ЗИМНО...**

*На лотарингских холмах еще зимно
блещет в хвое белена.
В темно-серебряном племени гривна
солнца совсем холодна.*

*Трансевропейская встречная тряска,
вынос из тьмы дуговой
— в сон, закруженную было развязку
подлинной встречи с тобой.*

*...Издали, где темна оболочка
сумерек в кронах седых
и рассыпалась бенгальская точка
верных снегурок твоих,*

*вдруг на поверхность выносит теченье
стаю отроческих рыб.
И начинается коловоращенье
сердца, пока не погиб.*

*Словно зажал на уроке когда-то
в потной щепоти мелок,
слыша ухватчиво и воровато
сдавленный твой шепоток.*

март 84

ВЕСНА В ГАЛЛИИ

*Жадная жимолость крепится к каждому
в славных морщинах стволу
лескообразными нитями влажными
по перелескам Сен-Клу.*

*Вдруг за Версалем гнездо янсенистское
ожило, зазеленев.
Что-то зазывное, родине близкое
в промельке — между дерев.*

*И роговицу наполнив, проклянется
вдруг опресненная соль.
Разом и нищенка и толстосумица
— жизнь перельется в глаголь.*

*Знаю, что был нерадивым хозяином,
как полагается там:
ходко губил я ее по окраинам,
волгло студил по морям.*

*Где над гранитом запаянной яминой
пламенно холоден дрок,
скоро ей вырубят несколько каменных
невразумительных строк.*

30.4.84



**Юрий
Кублановский**

ПОД ЭПИГРАФОМ ГЕТЕ

ОБЛИК

*Так получается,
когда своя дотоль
земля меняется
и в грудь стучится боль.*

ИЗ ВЕСНЫ — В ЛЕТО

*Когда твой облик в соляной
иссякнет дужке роговой*

*за пирамидками соцветий
каштанов с щелистой корой
сквозь перехлест тенет и нетей,*

*ублюдком из тугих пелен
переползу на баю-баю*

*под покровительство времен,
где — позабывчив, приклатнен,
знал, что недаром погибаю.*

май

*Мертвое красное
море сухой черепицы.
Что-то напрасное
понову в сердце стучится,
словно ручается
честное слово за птичье:
вновь повстречается
с чаемым ликом обличье.*

*Рыбка взывавшая
в ржавом ведре у невежи,
шла в уловлявшие
сетчатым парусом мрежи,
чуть не истлевшие
даром на солнечной спице,
поднаторевшие
соль оставлять в роговице.*

июль 84

Сергей Юрьенен



Памяти
Екатерины Александровны Юрьенен,
урожденной Грудинкиной
(Санкт Петербург, 1896 –
Ленинград, 1980)

НАРУШИТЕЛЕЙ ГРАНИЦЫ

ПОД ЭПИГРАФОМ ГЕТЕ

Wer nie sein Brot mit Tränen ass...

*Вкруг беглеца
зона кольца
потерь.
Память не спит,
щедро кропит
солью ломоть теперь.*

*Сам посчитай
пени за пай
зерну,
за перелив
ивовых грив
в волну.*

*Майский набег
тютчевских рек
сюда –
в рощи дотоль.
Только глаголь
– мать моего стыда.*

*...Думали брать.
Зайцем петлять
с утра
за тридцать пять
было кончать
пора.*

*Воля – она
духом бедна
на грош.
Зелень – холмам,
музыка – нам:
слышишь, когда не ждешь.*

30.5.84

РОМАН

ГЛАВА 9
ПЕРВЫЙ СНЕГ

За чертой Подпольска водитель выключил из экономии свет, и темнота в автобусе слилась с законной ночью. Я закрыл глаза. Я был полностью обессилен после своего спонтанного порыва, и это было так приятно – втягиваться все глубже в огромную воронку тьмы. Уже и в Москве было темно, когда ко мне в больницу вернулся Буков, вымокший до нитки и с бутылкой виски. Но планы мои на этот вечер резко изменились, и пришлось ему обратно выбегать на дождь. За такси. Тем временем Зоя Сосина, только что заступившая на смену, спасла меня еще раз, одолжив свою "болонью" со словами из популярной песенки: "Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу!.." Перелезая под дождем скользкую кирпичную стену, я оставил на территории Первой градской больницы разношенный шлепанец. Спрыгнул и потерял другой. Так и побежал к затормозившей машине босиком по холодным лужам. На заднем сиденье "Волги" Буков свинтил крышечку, и мы согрелись виски. Алкоголь отдавал дубовым привкусом. Частник (это было не такси) за четвертную был готов на все. Сначала мы рванули к главному зданию МГУ. Буков боялся, что в общежитии его уже поджидают профессиональные литературоведы в штатском. Этого исключить было нельзя, и я пожал ему руку. Но через двадцать одну минуту Буков вернулся на заднее сиденье "Волги": видимо, "дело"

Журнальный вариант

о нашей самиздатской попытке еще не дошло до той стадии, когда выписывают ордера на арест. Он принес мне мои сапоги и одежду. По пути в аэропорт Шереметьево-2, который обслуживает внутренние линии, я переоделся. Куртка у меня была непромокаемая, Буков захватил для меня еще свой домовязанный свитер — так что с верхом было все в порядке. Но брюки пришлось надеть летние, белые: ничего не поделаешь, не сумел я подготовиться к смене сезона. Впрочем, не такие уж и белые они были. Я их еще до больницы изрядно затер. К тому же парусина, из которой они были сшиты динкиным братом, убывшим уже, наверное, по месту исполнения священного долга, была намного прочнее джинсовой ткани. Той же машиной Буков отбыл обратно в Москву — отвезить мое больничное тряпье, завязанное в "болоню", а я размахивал письмом перед билетной кассой и со слезами в голосе выкрикивал: "Войдите в положение, девушка! Любимая при смерти, вы понимаете? Л ю б и м а я!" Я был, должно быть, убедителен. Уже через час я оторвался от взлетной полосы, набрал высоту и, втянув шасси, оставил за собой зону ливневых туч.

В Подпольске было холодно, но сухо. Как и в столице нашей Родины, здесь уже готовились к Ноябрьским торжествам. Я выскочил из такси на автобусном вокзале, взял билет на последний рейс в райцентр Бездна и еще успел в буфете запить таблетку ноксирона бутылкой пива, оправдывающего свое название "Бархатное".

Не вечер выдался, короче, а низвержение в Мальстрем.

В эту самую, по-русски выражаясь, Бездну, по пути в которую, будучи под надежной анестезией, я уснул и не проснулся даже, когда асфальт подо мной сменился булыжниками. Но постепенно тряска сменилась толчками, они усиливались, и наконец от удара в голову я открыл глаза. Было все еще темно, но цивилизация кончилась.

Началось бездорожье.

Дверцы сложились в гармошку, и я вывалился на немощную площадку. Смерзшаяся земля была в соломе и конском навозе. Самоосвещалось во тьме беззвездной ночи только одно двухэтажное кирпичное здание, где было все — и "Универмаг", и партия, и комсомол, и милиция, и районный уполномоченный КГБ. Здание было в праздничном убранстве — и флаги, и "Слава КПСС", и выставленный в витрине магазина огромный портрет Генерального секретаря с добросовестно выписанными бровями. Жаль, иллюминацию еще не закончили.

— Залюбовался парень? — окликнул меня шофер автобуса. — Дай огоньку.

Я дал ему прикурить и спросил, где тут можно заночевать, в этой Бездне.

— Лично у меня тут баба имеется, — сказал шофер, — но бабу ты навряд ли сейчас найдешь... Видишь вон окошки светятся? Отель под названием "Изба колхозника". Попробуй там, а нет — стучись в любую дверь.

Администраторша "Избы колхозника", полногрудая девушка с глазами, затуманенными чтением фантастического романа Уэллса "Война миров", встрепенулась, заглянув в мой паспорт:

— Вы из Ленинграда?

— И из Москвы тоже.

— А, да, — нашла она мой последний милицкий штамп...

— Ни ленинградцев, ни москвичей у нас никогда не было, и вдруг: нате вам! Гражданин обоих миров! Как прям с неба.

Да... пожал я плечами. Такой вот казус.

— Алексей Алексеевич... — прочтала девушка и вернула мне паспорт. — Вы по казенной надобности?

— По личной.

— Туристом? У нас ведь тут развлечений никаких. Летом еще куда ни шло, а об эту пору и совсем скучно.

— Видите ли... Простите, вас как зовут?

— Настасья Николаевна. Можно просто Нета.

— Не совсем я к вам, Нета, — сказал я. — Я транзитом. Колхоз "Новая жизнь". Есть у вас в районе такой?

— "Новая" или "Светлая"?

— А не один ли бес?

— Нет, у нас их два, — сказала Нета. — Когда из области приезжают, то всегда путают. Если вам в "Светлую", то постоялец мой вас туда отвезет. На телеге. А если в "Новую"... Да вы не к городским ли девчатам, случайно?

— К ним.

— Не в Райки? — встревожилась еще больше Нета.

— Туда. А что?

— Ничего. — Она опустила глаза. — Туда завтра полуторка возвращаться будет.

— Вот и хорошо, — пробормотал я, прикрывая ладонью зевок.

— Спать хотите?

— Умираю, — признался я.

Ночлег тут стоил всего полтинник, но и того Нета с меня не взяла, отмахнулась, и отвела не в горницу, за дверью которой бубнили что-то свое подвыпившие мужики, а в свой "кабинет" — в кладовку. Тут было матрасов под потолок, и стояла узкая и аккуратно застеленная койка. Я стащил на пол два матраса. Нета дала мне одеяло и, отвернувшись, перекусила нитку на комплекте чистого белья.

— Время еще детское, почитаю пойду, — сказала она. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я лег и натянул одеяло. Запах заповедного воздуха, о котором я давным-давно забыл в загазованных своих столицах, этот запах, исходящий от белья, опьянил меня.

Очнулся я от нежного прикосновения жестких пальцев. Почувствовав, что глаза мои открылись, рука отдернулась. Светлая туманность по имени Нета проступала надо мной.

— Полуторка вернулась? — спросил я.

— Спи, — успокоил меня шепот, дохнувший самогонным перегаром. — Когда вернется, разбужу. Он ее, наверное, в самый Подпольск повез, так что раньше утра не обернется.

— А зачем он ее туда повез?

— В больницу.

— Рожать?

— Родить, оно и на месте можно. Делов-то! Только в Райках этих давно уже не рожают. Некому. Демографический кризис, — важно сказала Нета. — Старухи одни.

— Умирать, значит, есть кому.

— Да старухи, они и не умирают что-то. Чувствуют, наверное, что нельзя. Все ведь на них стоит.

— Кого же он тогда повез?

— Да городскую, кого ж. — Нета вздохнула. — Забросили их к нам урожай спасать, а их самих спасать приходится. Не выдерживают наших условий. Эта-то совсем девочка.

Удар пробил мою анестезию: Дина!..

— А что с ней? — спросил я, садясь, чтобы видеть лицо.

— А я знаю? С животом что-то. Может, съела там чего-то, консерву вспученную, от мешков надорвалась... Аппендицит вроде. Да не дрожи ты, Москва-Ленинград! Может, и не твоя.

— Ты ее видела? Опиши!

— Да я мельком только! Прими руку, больно же. Девчонка как девчонка. Городская, ну! Против наших они все заморенные.

— Лицо какое? — тряс я ее. — Глаза?!

— Белое! Выпученные! Да пусти же ты меня, — сорвала она мои руки, — ненормальный!.. Лежи! — Она подмяла меня всей своей тяжестью и дышала перегаром. — Вы что, все там такие психованные?

Весила Нета добрый центнер, и я задохнулся от расплюснутых об меня жарких грудей.

— Ты меня раздавишь, — взмолился я. — Дай мне лучше воды.

— А может, самогону? Постоялец мне привез.

— Давай.

Вместе с самогоном я незаметно принял таблетку. Нета одним залпом допила мой стакан, обожглась, с шумом втянула воздух в необъятные свои легкие и стиснула меня в объятьях. Опрокинула на лопатки и стала насиловать поцелуем, после чего обиделась:

— Что ж ты лежишь, как христосик?

Я вздохнул. — Ты уж прости меня, Нета, но я не могу.

— Ах, не можешь?

— Нет.

— А это там что? Или, может, мне спяну мерещится?

— Да, — признал я, впервые в жизни чувствуя, как расщепляется само ядро моего существа... — Но люблю я другую.

— И люби! Люби на здоровье. Я, может быть, тоже люблю одного. Только момент поймать, оно мне лично не мешает.

— А кого ты любишь?

— Да уж не уполномоченного КГБ! Фильм смотрел про Фантомаса? Вот его, Жан Марэ. Но у любви не убудет, она большая. Так что давай, лови момент!

Кто-то вместо меня опрокинул ее и разнял коленом.

— Ты погоди (придержала его Нета). Раз-два и в дамки — так со мной нельзя. Конечно, я большая, но я и маленькая. Там. Ты уж культурненько тогда, по-городскому...

Холодный пот струился меж лопаток, и Нета уже поймала свой момент, и не один, и раскинула вольготно руки, а тот, кто в силу своего одномерного устройства замещал меня, продолжал трудиться вхолостую, как перпетуум мобиле. Без отдачи. Без цели. Без мысли.

— Ну, будет, — остановила Нета этот процесс. — Чего ж изводиться понапрасну! Светает вон. — Она натянула мне на плечи одеяло. — Виновата я перед тобой. Ты уж меня прости.

Я поднял глаза — из сумрака уже явственно проступил черный крест оконного переплета.

— Нет в мире виноватых, — ответил я.

Подломился, упал лицом в подушку и зарыдал от того, что все у меня в жизни начиналось с измены.

Мы гнали по проселку так, что то и дело во мне сжимался страх: вдруг снова откроется недолеченная язва?

— К ебеней матери! — выкрикивал шофер, оскаливаясь в мою сторону... — Мать схорону, двери-окна забью, оболью избу самым лучшим бензином, и к ебеней матери!.. Я ж в ГДР служил, ты понимаешь, друг? В ГДР!

Принимая руку с "баранки", кулаком оттирал злую слезу. Шофер демобилизовался в мае, был старше меня года на три, ну на четыре, но рядом с ним в кабине грузовика я казался себе белолицым тепличным мальчиком. Не только на армию, этот парень с дубленным лицом и оскалом литых из металла

зубов был старше меня на всю свою жизнь, прожитую не в Северной Венеции — в Бездненском районе.

У реки он тормознул. Грузовик въехал в грязь и замер, вхолостую трясая капотом. Шофер достал из-за пазухи бутылку местной "Московской", которую я купил в "Бездне", чтобы расплатиться за доставку, энергично содрал зубами станиолевую пробку. — Пей... Давай, студент! Как бабки говорят — за упокой души.

Как штыком разжимают рот "языку", не выдающему военную тайну, так я разжал свой рот горлышком бутылки. Вдохнул, задержал дыхание, и — ударил глотком по пищеводу. Вторым. Третьим. Как расплюснутым свинцом залил себя натошак — и вернул бутылку. Страдальчески кривясь, хоть и был с виду железный, шофер размеренно задвигал адамовым яблоком, глотая зло местного производства. Потом мы спрыгнули в грязь. Он спустился к речке, а я, взявшись за изъеденные до трухи перила, оттер о нижнюю поперечину мостика подошвы своих шведских сапог. Шофер мучился над дымящейся водой. Мочил голову, пил, постанывая. Потом выбрался ко мне, облокотился. Закурил.

— Перитонит... это чего?

— Воспаление брюшины.

— Часом раньше, они мне сказали, довед бы, — была б жива. Но по колдоебинам этим какие ж скоростя? Пытка одна.

— Мучилась сильно?

— А ты думал? Как мел была. Но не кричала. Стеснялась, понял? Городская... Эх, да чего там! Погубил я девчонку.

— Не ты.

— Кто ж как не я? Я...

Черная вода выносила из-под моста алые кленовые листья. Покрасовавшись, они растворялись в мглистом тумане. Медленно, как во сне. Смутное стояло утро. Было красиво и глухо.

— Уеду я, — возобновил он тему эскапизма. — Куда, спросишь? В западном направлении. Я ж в ГДР служил, понял? К прибалтам подамся. В Эстонию. Там, говорят, культурно. Вот только мать схорону и... Ладно! — Он сплюнул окурочек. — Идем, студент, колотиться еще порядком.

И снова пошел лес, разбегаясь по обе стороны растресканного, забрызганного грязью лобового стекла. Чем дальше, тем паршивей была дорога, но, захмелев натошак, я сделался бесчувственным. Как под анестезией. Потом лес кончился, открылось низкое серое небо над огромным картофельным полем, по ту сторону которого чернели избы. Десятка полтора. Жались к каемочке леса. Ловя шишак рычага, чтобы сбросить скорость, шофер процедил:

— Вот они, твои Райки...

Заметив нас, работавшие на поле горожанки уронили свои мотыги и бросились туда, куда мы подъезжали, — к навету над грязными мешками с картошкой. Остановившись, шофер размял папироску.

— Ну что я им скажу, а? — Он закурил и пошел затягиваться, как перед расстрелом, с нарастающей жадностью... — Раз, помню, на учениях Варшавского договора поляк один под наш Т-54 попал. Так тоже было довольно тошно. Но не так: тот все же солдат был, а тут?.. Эх, мать твою-перемать! Божий мир! — и высадил плечом дверцу.

Я остался в кабине. Сидел и смотрел с высоты, как женщины разом остановились, как медленно, втягивая голову в плечи, подходил к ним шофер. Горожанки все были одинаковы — грязные резиновые сапоги, спортивные трико, ситцевые поверх юбочки. Среди осунувшихся, мрачных лиц я не сразу узнал динкино — глазастое, бледногубое, совсем девчо-

ночь. Той ночью на Главной башне МГУ и на следующий день, когда мы с Яриком провожали ее, провалившуюся, через всю Москву на Белорусский вокзал, она показалась мне много старше из-за всей этой косметики, которой сейчас на ней не было — нагое лицо. Выражение серьезности, которое оно пыталось принять в ответ на известие о смерти подруги по несчастью, делало это лицо совсем детским, и этот ее жест, рука, машинально заправляющая джемперок под высокий отстающий вокруг талии пояс моих американских джинсов... но бедра, но длинные ноги в резиновых сапогах, не черных, а почему-то алых, с перламутровым отливом — это в ней женское, уже от женщины, и я задыхаюсь от внезапной боли, перехватившей горло. Я распахиваю дверцу:

— Дина!..

Спрыгиваю, увязая, вытаскиваю ногу — и к ней. Все расступаются, оставляя ее, схватившуюся за горло, одну.

С мертвым ужасом смотрят ее глаза. Я притрагиваюсь к ее локтю:

— Не узнаешь?..

Она поворачивается, круто, и уходит. Прочь. Я нагоняю, пытаюсь обнять. Она сбрасывает мои руки, она, наклонив голову, идет, как эскорт под конвоем. Трудно. Увязая, оскальзываясь на клубнях картофеля, крупного, розового, желтого, давя плоды этой земли поистине с колхозным равнодушием, так, что сок брызжет. Я наступаю на железо мотыги, и это первобытное орудие азиатского способа производства стремительно поднимает откуда-то свою рукоять, дубину, облепленную землей, пытается попасть мне в лоб, но я — реакция не изменяет — успеваю сделать финт в сторону. Чем и пользуется она, сбегая из-под конвоя. Как в кошмаре преодолеваем мы это поле, кончающееся ручьем, который она разбрызгивает на бегу, а я бегу с прыжка, как старый легкоатлет. После чего мы вламываемся в ельник.

В сумраке огромной ели я нагоняю ее, сбиваю с ног. Сцепившись, мы катимся в яму, где я хватаюсь за свой локоть, где взрывается мгновенная боль от удара о какую-то заранее припасенную для меня железяку. Она уходит от меня по скату на четвереньках. С прыжка я достаю ее бедра и всем весом, щекой к ягодицам, прижимаю к земле. Все, не уйдешь. Лежит и дышит. Тяжело. Спина под джемпером дымит от пота. Я просовываю руку выше, за линию лифчика и беру ее за плечо:

— Ну что с тобой, а?.. Я из Москвы к тебе, а ты... — Я целую ее в ворот джемпера, потом стягиваю его, целую в голую шею, за ухо, в затылок.

— Врасплох, да? Врасплох? Может, я еще не готова?.. И вообще!

— Что "вообще", что?

— Я не так представляла себе... Не хочу, не хочу, чтобы ты видел меня такой.

— Какой? родная моя...

— Ненакрашенной, и вообще... по-моему, у меня вши. Не целуй, я сейчас умру от стыда!

Я приподнимаю ее за бедра, подсовываю под нее руки и — нет, лежи! — расстегиваю на ней свои джинсы. Она пытается помешать, но я стаскиваю их рывком, обнажая полный круглый зад, обтянутый эластичными трусами цвета водорослей. С досадой она швыряет в меня еловым мусором. Она рычит, она сдавленным низким голосом говорит, угрожая:

— Не трожь, я грязная.

— Сейчас я тебя вылижу. Языком.

Приподняв резинку над вдавленной, заалевшей поперек, я открываю белизну ягодиц, стиснутых стыдом. Я исцелываю их кругом.

— С ума сошел?.. Алеша?! — Я снимаю отмывшийся в ручье резиновый сапог, на рубчатой подошве которого оттиснуто "Маде ин Поланд", стягиваю штанину, нога теперь вся голая, не считая грязно-белого носка с черной пяткой. — Алеша, мне надо с тобой серьезно поговорить, — бормочет она, принимая тем не менее взаимноудобную позу, упираясь коленями и поднимая попу, именно в этой, еще, кстати говоря, неиспробованной мной позиции, мой питерский дружок Вольф советовал мне когда-то лишать их невинности, поскольку, хотя и слывет среди ханжей непристойной, в этой позе наименее болезнен разрыв девственной плевы, а уж Вольф знает, он самих Мастера и Джонса по-английски читал... У него мама гинеколог, и вообще надо быть в сексе где-то бестиальным... Неверными руками расстегиваю "молнию", сбрасываю свою небесно-голубую куртку, обламывая ногти, расстегиваю парусиновые штаны — извлекаю. Высоковольтный ток гудит во мне. Белизна ее ягодиц. Темная кровь моего члена. Пульсирующая толсто кровь под моими застенчивыми пальцами. Сейчас я причину ей боль. Я виновато исцелываю твердь ее нагой поясницы и это пухленькое вздутие над раздвоением ягодиц. Я запрокидываюсь, гляжу на ель, на готический храм хвои, помогая себе смущенной рукой. Мне страшно, я представляю, что вдруг сейчас мою руку обгадит ее девственная кровь, и на мгновение неуместно-мрачная фантазия посещает меня (судебно-медицинский эксперт, я озабоченно склоняюсь над найденным телом девочки, полураздетой, изнасилованной, задушенной, полужаспанной...). С досадливым "Да ой!.." ягодицы мягко толкают меня, отчего я наконец вхожу в нее, одновременно проваливаясь коленями в мох. Я схватываю ее за ягодицы, чтобы не выскользнуть, а колени утопают еще глубже, как в кошмаре, потому что двинуться нельзя, и вдруг меня как бы насаживают на кол. Нехорошее ощущение, но на мне, слава Богу, сзади штаны.

— Сейчас... — Заведенная за спину рука нащупывает внезапную помеху. Под пальцами отсыревший холод металла. Крутлый бок, коническая форма... снаряд? Я оглядываюсь, мертвея. Да, я сижу на крупнокалиберном снаряде. Сыробоком, источенном коррозией.

Толчок динкиных ягодиц усаживает меня на снаряд верхом. Я изо всех сил сжимаю нашу смерть коленями. Зажмуриваюсь, Возвращаю ей толчок. И мы после этого живы, не взорвался снаряд. Вам всем назло — живы. И снова живы. И еще раз. И много-много-много раз еще. И пусть потом разносит в клочья, мне плевать! Но если выживем, с тобой я не расстанусь. Никогда. Мы занимаемся любовью. Долго. (Может быть, слишком долго, сознаю я где-то в отдалении.. Надо кончать с привычкой к анестезии. Кончать с таблетками, иначе...) Но я силой, силой пробиваюсь сквозь свою бесчувственность. И начинаю стонать. Силой! Где-то над нами обеззвучивается от испуга белка, потому что уже не слабый стон беглеца из больницы, а рык звериный рвется из меня. И я отпрыгиваю резко. И кончаю.

Прямо на снаряд.

...так тихо. На палой хвое, под навесом ели мы приходим в себя. На откосе воронки. Еще кровь шуршит в ушах. Белочка начинает скрестись. Октябрьский тишайший лес вокруг.

— Тебе хорошо было?

Шейные позвонки всхрустывают: разве можно выразить словами?..

— Да я бы, — говорю, — взорвался бы с упоением. Если бы он взорвался.

Ее нога в шерстяном носке дотягивается до торчащего из мха снаряда, поглаживает медь головки.

— А жаль, что не взорвался... Отсырел. С войны нас поджидал. От нашей гаубицы, между прочим, — говорит она. — 152-миллиметровый.

— Откуда ты знаешь? Может, он немецкий.

— Знаю. Наш он. Я в детстве все учебники отца по пушкам каракулями разрисовала. Тогда ведь не было еще ракетных войск. И он артиллеристом был. Простым.

— А сейчас ракетчик?

— И еще какой. Всеми ракетами, на Запад нацеленными, командует. Прикажут ему, он — раз! — и всех их разнесет.

— А они нас.

— Может быть... — Она закуривает мятую папироску. — Ты думаешь, война будет?

— Войны не будет, но будет борьба за мир, — говорю я. — После которой камня на камне не останется. Последний московский анекдот.

— А мне плевать, если и будет, — говорит она. — Что такое война? Это просто наша смерть. Ты боишься смерти?

— Нет, не боюсь.

— И я не боюсь. Раньше, когда в школе училась, боялась, а сейчас нет. Я и без войны уже, знаешь? Раз — люминалом травилась, второй раз — газом.

— Знаю...

— Вот. И мне плевать на эту жизнь.

— А у тебя глаза разного цвета! — вдруг открываю я. — Ты об этом знала? Этот скорее голубой, а этот совсем зеленый. Как у кошки. Никогда не видел ничего подобного!

Отсутствующий взгляд возвращается. Глаза ее упираются в меня, жесткие и злые.

— Ты надо мной издеваешься, да?

— Почему?

— Потому что говоришь не о том, что думаешь!

— Что с тобой? Да я вообще ни о чем не думаю.

— Не думаешь?

— Нет...

— Но ты же ведь, — кричит она, — к девушке летел, к целке! А она же женщиной оказалась.

— Женщиной, ты?.. — Ах, да, ведь крови не было. Я подношу к глазам свою правую руку. Не было, да. Я и не понял...

— Значит, говорю я, — значит, у тебя уже тоже есть прошлое.

— Вот именно! А то ты сразу не понял!..

— Нет, не понял.

— Так я тебе и поверила!

Я откидываюсь на спину, надо мной переплет еловых ветвей. И не ревность меня мучает, а собственная несообразительность. И я совсем не знаю, как мне реагировать. — И кто же он, твой первый?

— Кто, кто... Какая разница? Теперь жалеешь, что летел, да? Раскаиваешься? Ведь я тебя просила, умоляла: "Не торопись!" Ты сам все испортил. Налетел, как ненормальный! Слова не дал сказать.

— Слушай... Да брось ты, — кричу, — пинать эту штуку! Взорвется же!

— Не взорвется, — упрямо отвечает она. — Тут их полно. Лежат себе и что-то не взрываются.

— Ты его любишь? Если ты его не любишь, то для меня это значения не имеет.

— О чем ты говоришь, Алеша! Да я из-за всей этой... из-за кошмара этого я газом травилась, а он мне про любовь! Ты получил мое письмо?

— Получил.

— Ну, и вот... И з н а с и л о в а л и меня. Теперь ты понимаешь?

— Как то есть изнасиловали? — вскакиваю я.

Она опускает голову.

Как после удара под ложечку меня охватывает тошнота. Что-то гнусное охватывает мои внутренности. Я выбираюсь из воронки, сажусь к подножию ствола. Я влипаю затылком в смолу, отдергиваюсь, и от резкой боли в корнях волос вскипают слезы гнева. Ну, за что мне еще и это? Мало мне уже, что ли?!

— Кто?

— Какая разница...

— Нет, я хочу знать!

На другом конце воронки она обхватывает свои колени.

— Золотая молодежь, — говорит она. — Мальчишки.

— Не один?

— Она вздыхает. — Нет...

— Сколько?

— Я их не считала. В отключке я была. Если хочешь, могу рассказать.

— Ну?

— Ну, пригласили в одну компанию... — Она раскуривает папиросу, морщится, отбрасывает горелую спичку. — Я была и еще одна. Остальные парни. В общем, напоили они нас, как выяснилось потом, спиртом. Медицинским. Закрасили его и за наливку выдали, за клубничную. Мы-то ведь ничего не подозревали, а у них, оказывается, все заранее продумано было. Сволочи!.. Ну и втоптали нас в грязь с головой. Когда я включилась обратно, уже было поздно. Но мне не так досталось, как той, второй, которая уже и до этого не невинной была. Об меня им неинтересно было мараться, а что они с той вытворяли, так это просто чистый садизм. Перед тем как смотаться, я заглянула в салон. Представляешь, она лежит на ковре, голая, а эти сидят вокруг, как прямо из племени каннибалов, и гоняют по ней машинки.

— Что еще за машинки?

— Автомобильчики детские. Ну те, что с Запада все привозят в качестве сувениров. Вроде гонок что-то по ней устроили — знаешь, пьяные дела? Изъездили всю в кровь. И руки у нее связаны. "Жених" ее, кстати, тоже игрался. Он ее как бы под кодом "невесты" привел, а тут... С этими машинками они все въезжают в его "невесту" чуть ли не по локоть, представляешь? А ему хоть бы хны. Хохоchet. Но самое странное, что и ей, с которой они так резвились, и ей все это как с гусьни вода. Есть же люди! Хоть что с ними делай, а они как ни в чем не бывало. Подруга эта потом телефон мне обрывала, после смены у завода стерегла. Они испугались, когда узнали, что я газом травилась. Боялись, что я заявление в милицию понесу. И через эту же, рабыню свою, отступную предлагали.

— Деньгами?

— Дисками. "Роллинг стоун"ов и так далее. И щенка.

— Уж не борзого ли?

— Нет. Скоч-терьера. Черный такой, лохматый. Очень симпатичный.

— Ты хочешь собаку?

Дина затягивается последний раз, отбрасывает окурок,

который отскакивает от снаряда и пытается воспламенить развороченный хвойный наст. Она говорит:

– Расхотела...

Я подтаскиваю сухую ветку, ломаю ее на куски, сначала руками, потом о колено. Что тут скажешь? Тут сказать нечего. Я сползаю в воронку. Обстраиваю хворостом снаряд. Рядом падает смятая пачка "Севера", и она пойдет в дело. Я выворачиваю карманы куртки. Нераспечатанную пачку болгарской "Стюардессы" бросаю к ее ногам, а все свои наркотики, особенно димедрол в бумажной упаковке – сюда же. Сверху я натаскиваю еще мертвых веток и, не оборачиваясь, говорю:

– Кинь мне спички.

Помедлив, она бросает коробок. Я зажигаю использованный авиабилет, сую пламя под веточки. Сгорая, корчатся на них иглы, и вот уже занимается мой костер.

– Что это ты делаешь?

Я задуваю пламя вовнутрь, глядя, как подсыхает бок снаряда. Теперь уже костер не унять.

– Сгорит же все, Алеша?

– Если бы все, – говорю я... – Идем отсюда.

Обнявшись, мы хрустим сквозь лес. За нами поверху крадется белка. Перескакивает с дерева на дерево. Старый лес кончается. И средний. Мы продираемся в ельничке, и она оглядывается:

– Не работает. Отсырел динамит...

На самом выходе из лесу земля вдруг сотрясается от взрыва. Мы падаем в старый пехотный окоп, и тут грохочет снова: "Бум-бум!" И еще раз! Целая канонада! Я изо всех сил вжимаю Динку в мох. Взрывная волна прокатывается над нами, осыпая хвоей, эхо удаляется в поле, а позади, в лесу, все еще обваливается с треском наша ель – старая, высокая, стрельчатая, как Кельнский собор, который так любил рисовать Достоевский на полях своих черновиков. Сердце бухает: так и кажется, что сейчас – после такого светопреобразования! – что-то произойдет. Но внешний мир отзывается только лаем собаки. Дальним... Ей вторит другая дворняга, третья... Погавкали лениво и умолкли. И нас охватывает еще более глухая тишина.

– Здорово! – шепчет Дина. – Вернемся глянем?

– Зачем?

– Интересно ж.

– Последнее дело возвращаться туда, – говорю я, – где было хорошо. Вперед и только вперед!

Мы выползаем на бруствер, заросший красными кустиками брусники.

Перед нами – картофельное поле. Огромное серое пространство с чернеющими, где уже убран картофель, полосами. Она молчит. Грузовика нет. Нет и женщин. Разошлись по избам. Никого... Мы лежим в бруснике и курим, созерцая готовую к зиме октябрьскую пустоту.

– Ты говоришь: "Хорошо"... Несмотря на?

Я говорю:

– Не будем об этом.

– А ты меня любишь?

– Люблю.

– Потому что я тебя очень-очень. Ты мне веришь?

– Верю.

– И ты меня еще долго будешь любить?

– Всегда.

– А вдруг разлюбишь?

– В нашей ситуации, – говорю я, – это было бы как дезертирство. Мы ведь с тобой, как два бойца.

– Да. Последние...

– Последние, но атака отбита. Но бой, – говорю, – еще не кончен. Небольшой такой, местного значения.

– Но ведь важный, да?

– Да. От него зависит исход всей войны.

– Раз так, – говорит она, – умрем, но не сдадимся. Как защитники Брестской крепости.

– Русские не сдаются. Но давай не умрем. Попробуем, а?

– Давай. Но стоять будем насмерть.

– Естественно. А пока у нас просто перекур. Перед следующей атакой. А неплохо все же здесь, в этих Райках. Природа.

– Неплохо. Не было б так паршиво, было бы и вовсе хорошо.

– В такую минуту понимаешь, что она, природа, от Бога.

Левая ее рука с вьевшейся под некрашенные ногти землей берет сигарету у правой, которая яростно чешет в затылке. – О, Господи, неужели у меня, действительно, вши?

– Дай взгляну, товарищ. – Я укладываю себе на колени ее голову. У нее небольшая голова. Я не люблю большеголовых женщин. И волосы у нее красивые, медного оттенка. Только сейчас они потускнели и слежались. Как обезьяна, я ищу у нее в голове, вынимая застрявшие еловые иглы, и вдруг меня передергивает: один волос унизан белесым яичком. Это гнида.

– Нет, точно? Блядская деревня!

– Лежи-лежи, товарищ! А ля гер ком а ля гер! – Я раздавливаю гниду ногтями больших пальцев, как о том где-то читал. Где? У Ремарка, кажется. "На западном фронте без перемен".

– По-твоему, они тоже от Бога?

– Вши? От происков Сатаны.

– А мы, люди?

– Оттуда же.

– Не по-марксистски рассуждаете, товарищ студент. Вы из МГУ или с печи ко мне свалились? Наша хозяйка тут, карга старая, именно в этом духе и вещает. Вы, говорит, апокалипсиса боитесь, а он вот уже полвека как идет. Темные здесь все-таки люди...

– Я тоже, знаешь ли, хочу стать темным. К черту Москву с ее университетом! С ее Политбюро, ЦК КПСС, КГБ, Министерством обороны, Госпланом, Общепитом и тому подобное. Свободу выбираю. Волю! Вот здесь, в Райках. С твоей каргой, с олигофреном Вовой, с самогоном. Все, решено!

– Ты что, серьезно? – смотрит она с моих колен.

– Вполне. Значит так: переночуем на сеновале, а завтра с утра в правление колхоза. Я думаю, нам разрешат отколотить вон тот заколоченный дом.

– Но здесь же ничего нет, Алеша! Ни кино, ни телевизора, ни даже газет!

– Да? Чем же здесь, прости, подтираются?

– Лопухами! Нет, я ни за что не променяю цивилизацию на это вшивое прозябанье! Тут же кладбище, Алеша! Самое настоящее.

– Ничего ты еще, я вижу, не понимаешь. Здесь самая жизнь, – говорю я, лаская под свитером ее грудь. – И мы с тобой еще вспомним этот наш окоп.

На искривленное презрением лицо моей любимой внезапно садится снежинка. Самая настоящая, зимняя, мохнатая. Растворяется, превращаясь в каплю. Я запрокидываю голову – с неба на нас спускаются мириады точно таких же. Плывут на зубчатом фоне леса. У меня было предчувствие, ей-Богу! Все это время! Дурак, чего ты радуешься, отговаривает меня

голос. Ведь ты вырос из своего школьного пальто, а нового нет, а до весны теперь — полгода. А где взять деньги? До зимней сессии, положим, еще можно дотянуть вдвоем на одну стипендию, а когда исключат? Как вообще жить? Неразрешимая проблема. А ведь придется разрешать. Если, конечно, не посадят... О Господи, зима! Зима тревоги нашей.

Дина, с моих колен:

— Это что, в глазах рябит или... — Но вот и еще одна капля на ее лице, и еще, и оно искажается радостью: — Ур-р-ра! Накрылась их картошка! И пусть вся перемерзнет! Завтра же, нет, сейчас же, немедленно собираю шмотки, и — прощай,

Райки! Это ты, — целует меня, — ты привез мне снег. Ангел мой, ведь я же свободна, ты понимаешь? Свободна!

Я помогаю ей подняться. Обнимаю под свитером, прижимаю к себе. И мы стоим в обнимку, глядя на гибнущее поле. Вот и прошла наша юность, вот и прошла, моя ты горячая. А лицу холодно. Лицо мертвеет, но не уйти никак. Столбедем...

Снег идет.

(Продолжение следует)

**СТАРЕЙШАЯ В МИРЕ И ЕДИНСТВЕННАЯ В ЗАРУБЕЖЬЕ
РУССКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Главный редактор **АНДРЕЙ СЕДЫХ.**

**Информация, политические статьи, материалы Самиздата, экономика, наука.
Статьи о театре, кино, музыке, живописи, рецензии на новые книги.
Повести, рассказы, стихи, документальные и исторические очерки,
путевые заметки.
Новости спорта.**

**В каждом номере — множество снимков, получаемых от крупнейшего в мире
информационного агентства «Юнайтед Пресс Интернейшенал».**

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

Ежедневное издание

На год — 80 долларов
На 6 месяцев — 45 долларов
На 3 месяца — 29 долларов
На 1 месяц — 10 долларов

Воскресное издание только

На год — 30 долларов
На 6 месяцев — 17 долларов

**Адрес: Novoye Russkoye Slovo.
519 8th Ave., New York, N. Y. 10018. Тел.: (212) 564-8544.**

Евгений Кропивницкий

2

СТИХОТВОРЕНИЯ



СРЕДСТВО ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Лают псы и заливаются
В подворотнях по дворам.
А соседи тоже лаются
Хари выставив из рам.

Над бараками, над длинными
Нежно светится луна.
Переулками пустынными
Баба крадется одна.

Смрадом тянет от помойницы,
Что чернеет под луной.
А в барачной тесной горнице
Кровью кашляет больной.

Входит баба: – Вот, поджарила,
Скушай, миленький, мясца.
Уж я жарила да парила
Для здоровья молодца. –

– Мать, собаку есть не нравится,
Но беда – туберкулез!
Неужели не поправится
И подохну я, как пес?! –

Съел собаку – и поправился,
И прошел туберкулез.
И, как сукин кот, прославился
И довольный произнес:

Вот смотрите: я поправился,
И прошел туберкулез.
Вкус собаки мне понравился,
Гав-гав-гав! – я стал, как пес.

Но соседи не пугаются –
Лаять можем мы не так:
"Гав-гав-гав (!) – так разве лаются? –
"Мать твою!" – вот это так!

16-20 июня 1953

ОЖИДАЮЩИЕ

Ждут все смерти. В ожиданьи
Деют всякие деянья:
Этот в лавочке торгует,
Этот, крадучись, ворует,
Этот водку пьет в пивной,
Этот любит мордобой.

Этот делает дела
От которых бездна зла.
Этот нравственности учит –
(Попадись ему – замучит).

Этот кем-то управляет.
Этот что-то получает.
Словно маленькие дети
Голубей гоняют эти.

За недорогую плату
Эта учится разврату.
Этой нравится фокстрот.
Этой краской красить рот.

Вот контора: цифры, счета,
Масса всяческой работы...
Смерть без дела скучно ждать –
Надо ж время коротать.

29 апреля 1953

**ЕСТЬ У МЕНЯ
ЛАМПАДА,
И ДЕРЕВО,
И РУСЬ...**

**О творчестве
Инны Лиснянской**

Хотя печататься Инна Лиснянская начала в конце сороковых годов, но по стилю, по мировосприятию, по звучанию ее поэзии, она безусловно относится к поэтам "медного века" — из которых большинство вошло в литературу (по крайней мере официальную) после 56-го года. Да и долгие годы, в первый период своего творчества Лиснянская занималась переводом так называемых поэтов национальных республик, среди коих многие, как известно, сконструированы издателями и переводчиками. Такая работа, когда поэт, пользуясь сомнительным подстрочником, гонит строки километрами, весьма мало имеет общего с поэтическими переводами, а зачастую и с поэзией вообще. Такая работа иссушает. И тем более удивительно, что при этом Инна Лиснянская не только не утратила своего таланта, но и стала с годами одним из самых интересных поэтов нашего поколения. И тогда, естественно, ее перестали публиковать в СССР. Особенно после того, как она приняла участие в альманахе "Метрополь", который был открыто предложен группой поэтов и прозаиков советским издательствам, но результатом были репрессии: двое из участников альманаха были исключены из Союза писателей, а Лиснянская и Семен Липкин вышли из Союза сами, в знак солидарности с исключенными. С тех пор ни одной строчки Лиснянской в СССР не было опубликовано. На Западе Инна Лиснянская публикуется, в основном, в журнале "Континент". В январе этого года КГБ предупредил ее о том, чтобы она прекратила эти публикации, словно стихи эти стали так опасны для советской власти, что вот-вот рухнет она, если лирика Лиснянской будет продолжать публиковаться. На самом деле, конечно, причина в другом — идеологические вертухаи хотят приговорить к молчанию поэта, зная,

что это один из видов убийства, только такой, который незаметнее... А в ответ — книга, целая книга "Дожди и зеркала" в издательстве "Ардис".

Но о чем же говорит само творчество Лиснянской? Прежде всего это — отражение того психологического феномена, который возможен только в стране социализма: отражение двойного, поневоле двойного существования личности, существования, на которое обречены все мыслящие советские люди, независимо от профессии или национальности. В этом смысле — "типическое явление в социалистических обстоятельствах", характерная черта советского человека, ибо внутри он так и не стал советским.

Этот город — арестантская одевка,
Полосатый и застиранный мешок,
В нем давно себя не чувствую неловко,
Ничего не замышляю поперек...

Вот он, советский человек в советских обстоятельствах. Вроде бы свыкся, смирился, живет себе как положено роботу в условиях реального социализма. И никаких внутренних конфликтов, не говоря уже о конфликте с системой. Но это только внешнее, а на самом деле:

Мне бы вздрогнуть,
Мне бы вскрикнуть и проснуться,
И очнуться — но давным-давно не сплю.

Не сплю — это не только о том, что на реальность жизни глаза раскрыты, это прежде всего о том, что личности не надо и бунтовать вдруг, ибо внутри не утихает сопротивление духа, не смолкает перманентный бунт человека в мире античеловеческого бытия:

Ты, и поняв всю степень бедствия
Слыть полоумной и чужой,
Не находила соответствия
Меж оболочкой и душой.

Ибо полосатая оболочка каторжника — униформа всей страны, и душа — над ней-то не властен мелкий бес идеологии конформизма! Вечные ценности превыше политических актуальностей, этой мелкой монеты, за которую удается купить лишь то, что великий наш драматург Евгений Шварц назвал "дырявыми душами". Вечные ценности, отрицаемые властями, или даже приспособляемые ими себе на потребу не тускнеют, не стираются, как не стирается любовь к России, хотя ее тоже пытаются вырядить в чучельный наряд "советского пат-

риотизма". Вот полностью одно из лучших стихотворений Лиснянской — ее "кредо", как мне представляется:

Есть у меня лампада,
И дерево, и Русь,
Где я живу как надо
И мыслить не берусь.
Кусочек мироздания
Плывет с двух сторон,
По краскам угасанья
Я вижу — это клен.
А как на ладан дышит
Страна во цвете лет
Увидит и опишет
Эпический поэт.
И подтолкнет страдальца
И жертву к алтарю.
А я на все сквозь пальцы
Или сквозь сон смотрю.

Это взгляд "сквозь пальцы" отнести действительно к поэтическому "я" Лиснянской едва ли кто сможет, это упрек не себе, а прежде всего современникам своим, и упрек, и понимание, что иначе почти невозможно жить, что нельзя требовать от людей героического существования, что все проще, и дай Бог сохранить свою душу живу в этом мире, в котором все

Предвидено, предсказано,
Цветком не прорасту,
Я к времени привязана,
Как к конскому хвосту
О плоские булжники
Крутым затылком бьюсь,
Молчат твои подвижники,
Затоптанная Русь!

Опять, как уже не раз было с блоковских времен, а особенно у поэтов нашего поколения, образ татарского нашествия — некое воплощение рокового, почти абсолютного зла — символизирует сегодняшнюю тиранию. Да и верно, есть ли что-нибудь более чуждое национальному духу России, чем злобное, холодно-рационалистическое уравнивание всех людей в бесправии, выстраивание всех душ по ранжиру? И то молчание, которое видно, которое по всему миру на удивление якобы длится 65 лет, на самом деле не молчание, не конформизм, а затишье перед бурей...

В душном времени, в болотном пламени
Имя Господа мы долго жгли,
И сгорали сами, и как знаменья
Ливни милосердные сошли,
Я и грешница и погорелица...

И все же поэт не может не кричать о покаянии за молчание это, за то, что все молчат, пусть даже внутри бунт, но не вечно же ему внутри быть, и это затянувшееся молчание уже становится грехом, так чувствует поэт, чувствует за себя и за всех русских людей...

Я проситься буду в пекло адово,
Даже если Бог меня простит —

вот самоощущение многих и многих, нашедших себе в этих стихах открытое выражение; и, не требуя героизма (ибо его вообще ни от кого нельзя требовать!) Лиснянская говорит откровенно:

Ну, а страх перед бедою
Только Богу я открою
Много тюрем на Руси,
Господи, спаси!

И поэтому, когда из свободного мира доносятся наши голоса, нам, нам отвечает поэт:

В эфире глушилка в квартире бедлам,
К чему нам усталость делить пополам?

И далее: "Транзистор разбей, а гитару настрой"... Но в этом спазме отчаяния и гитарные струны звучат о том же, о чем приемник, доносящий вперемежку с гулом глушилки свободные слова: "Гитару настрой и сыграй о любви, и струны, и строки мои разорви." Ведь дух дышит, где хочет" — и гитара, поющая о любви, тоже поет тем самым о свободе чувства, свободе души, а значит, и она — не в ладах с действительностью, не в ладах с рабством... И если не героично отшельничество, если оно выжидательно, то поэт ощущает его одновременно и как грех (грех конформизма), и как то, что безусловно прощается на Суде Господнем, ибо требовать героизма — есть грех стократ больший. Более того — требовать чего-либо от души человеческой — это и есть пути Антихристовы. И если звучит некий фатализм в стихах Лиснянской, то это не убежденность в правде фатализма, а признание того, что так уж устроен мир, и что соблазн фатализма хотя и грех, но слишком распространенный, чтобы не быть прощенным свыше. И кухня — московская кухня, где от веку все споры и разговоры, вся духовная жизнь проходит — вот та раковина, в которую прячется советский человек, сохраняя свою душу живу:

Мы черные чаи с тобой гоняем,
И как ни морщим опытные лбы,
Мы завтрашней судьбы своей не знаем,
Да и вчерашней не поймем судьбы.

И когда в стихотворении "Проводы" почти фантастическая картина — книжные полки сдвигаются к центру комнаты, сужая пространство и сдавливая всех, то это символ потери друзей, тех, кто уезжает, тех, кто уходит в эмиграцию, оставляя сужающееся пространство и в нем — задыхающихся эмигрантов внутренних — по сути, почти всякого человека, который не может не мыслить...

"Мы еще встретимся, встретимся..."
от повторенья
Трель примерзает цветком ледовитым
к стеклу,
Водка горька, как рябина и ложь
во спасенье,
Книги молчат и вплотную подходят
к столу.

И все же, как бы грустно и фаталистично не звучали эти строки, человек не может продать душу, ибо она не им создана, и каждый без требований, без насилия, сам по себе остается самим собой — ибо "кесарю - кесарево, а Божие — Богу":

"Слыть отщепенкой в любимой стране — видно, железное сердце во мне". Потому что быть самим собой, быть, как говорил Пастернак, "живым и только до конца", есть долг человека перед Богом, собой и миром. И пока это так — ничто не пропало!

Василий БЕТАКИ

ДЕТИ СМУТНЫХ ЛЕТ РОССИИ

Лет пятнадцать назад черносотенный советский журнал "Огонек" поместил очерк, называвшийся "Русские сердца". В нем воздавалась хвала героям французского Сопrotивления — Вере Оболенской, Борису Вильде, Игорю Кри-

вошеину... Очерк сопровождался фотографиями героев. О первых двух было сказано, что они погибли от рук нацистов, о Кривошеине — что он вернулся из Франции и благополучно живет на родине. Мне даже показалось, глядя на снимок, что сфотографирован он на невиской набережной, на фоне Петропавловской крепости с ее знаменитым шпилем...

Теперь я встретил тот же снимок в книге Н.А. Кривошеиной "Четыре трети нашей жизни". Оказывается, он сделан еще в военную пору в Париже. Но тут же приведен другой — Игорь Александрович Кривошеин в Москве, в 1954 году. И надпись: "по выходе из Лубянки". Значит, и его не минула чаша сия... Ничего удивительного, впрочем, в этом нет: многие из так называемых "ре-эмигрантов", усиленно зазывавшихся во второй половине 40-х годов на родину, попали по возвращении в гебистские лапы.

Как же, однако, случилось, что Игорь Александрович и Нина Алексеевна Кривошеины сочли возможным вернуться в Советскую Россию?

Этот шаг кажется особенно странным, когда мы узнаем, как и при каких обстоятельствах они оттуда ушли.

Игорь Александрович, сын последнего царского министра земледелия, человека недюжинного ума, энергии и смелости (о нем с уважением пишет даже небезызвестный Лев Любимов в своих воспоминаниях "На чужбине"), близкого соратника Столыпина, ушел из России достойно: с армией Врангеля, с оружием в руках. Нина Алексеевна, его будущая жена, покинула родину, тоже рискуя жизнью: в декабре 1919 года ушла в Финляндию по льду едва замерзшего Финского залива. "Шансов погибнуть было очень много, — вспоминает она, — точнее, было мало шансов благополучно дойти. На этом маршруте многие утонули или замерзли, иные были тяжело ранены финской береговой охраной, попали в руки Красной армии и были расстреляны".

Бежали потому, что в Советской России спустя полтора-два года после большевистской революции жить стало вовсе невозможно. Но и потому еще, что дальнейшее пребывание там тоже ничего хорошего не сулило. Отец Нины Алексеевны, крупнейший предприниматель, заводчик, банкир, к тому времени был уже в Финляндии. Последним толчком, бесповоротно заставившим выбрать бегство через залив, оказался для

питерцев провал наступления Юденича. "Наступление докатилось вплоть до Нарвской заставы, — читаем у Н.А. Кривошеиной, — белые на некоторых улицах залегали на одном тротуаре, а остатки красных — на другом. Город был оставлен командованием (красных, — И.К.) и целых 24 часа, если не больше, был предоставлен самому себе; потом, когда белые внезапно, не дав ни одного выстрела, откатились и, все быстрее набирая ходу, — скорей, скорей — вернулись в Эстонию... вот тут стало ясно, что больше надежды нет; был момент, когда надо было дать первый выстрел в городе, но никто его не дал, хотя у петроградских жителей оставалось еще немало оружия, и в душе многие только и ждали этого выстрела".

Можно спорить, конечно, привел ли бы этот выстрел ко всеобщему восстанию в Петрограде и к вступлению Юденича в город, но несомненно одно: поистине, какая-то трещина прозмеилась через русских людей в те годы, когда на весах лежала судьба России и достаточно было небольшого толчка, чтобы весы качнули не в ту, а в другую сторону. Впрочем, зародилась эта трещина еще задолго перед революцией — и стала одной из главнейших причин всего того, что произошло с нашей страной. Тогда, в самом начале века, Россию могло еще спасти — вопреки марксову учению — быстрое развитие по образцу западно-европейских стран или, того вернее, Америки. Однако как радикальные, так и консервативные силы тогдашнего общества равно боялись такой перспективы. Вот как пишет об этом Н.А. Кривошеина: "... Отец сразу поднялся в ряд крупный капиталистов, "банкиров", — он вошел в группу лиц, которые были так ненавистны для многих, начиная от революционеров всех окрасок и кончая некоторыми дворянскими и "православными" кругами России".

Да, Россия заколдована в феодализме, — в смысле социальных перегородок, мышления придворных кругов, консерватизма церкви. Вот небольшой, но характерный штрих: в дни злополучной войны с Германией все четыре великие княжны в Царском Селе, в Екатерининском дворце ежедневно готовили перевязочные пакеты для фронта — аккуратно трудились по часу в день в обществе девушек из дворянских семей, занятых той же работой за теми же столами. И что же? "Заговорить в присутствии Великих Княжен было, конечно, невоз-

можно, обращаться к ним самим — запрещено старинным придворным этикетом". Весь час пока Великие Княжны работали, в зале стояла тягостная тишина; а сразу после их ухода все "разражались разговором и смехом". Если такая пропасть была между столичным дворянством и двором, нетрудно представить себе, какая бездна отделяла двор от остальных слоев народа!

Неудивительно, что в последние годы существования императорской России правящие круги ее окончательно потеряли перспективу — потеряли путь в будущее. Столыпин и П.Н. Дурново не в счет — их прозрение ни монархом, ни его ближайшим окружением в расчет не принималось.

Очень убедительно пишет Н.А. Кривошеина об отсутствии конструктивного, как бы мы теперь сказали, начала и среди масс эмигрантов. Все русские политические организации, существовавшие до революции и в революционный период — от монархистов до эсеров, — рухнули, и "надо было найти нечто иное, сказать что-то новое". "Новое" сумела найти и сказать возникшая на рубеже 20-х и 30-х годов партия мажороссов, — утверждает автор воспоминаний. Она, эта партия, "и до сих пор остается единственным политическим ответом в зарубежье на большевистскую революцию".

Здесь приходится возразить автору мемуаров: не единственным. Прямым предшественником малороссов объективно является сменовеховское движение, тоже эмигрантское, столь же, мягко говоря, малопродуктивное, но так же сильно смущавшее одно время умы эмигрантов. А движение "евразийцев", про которое говорили — и не без основания, — что оно инспирировано советской агентурой? Общей почвой всех этих движений было прекраснородушие, наивный идеализм и почти мистический оптимизм белой эмиграции. Даже гражданская война, выходит, мало чему научила российскую интеллигенцию!

Но ведь и после гражданской войны на Запад попадали свидетели большевизации России, Вот они-то уж в полной мере поняли, почему фунт лиха. Поняли — однако другим внушить это знание не смогли: чужой опыт всегда малоубедителен. "Помню, — пишет Н.А.Кривошеина, — как в 1932 или в 1933 году у младороссов появилась Татьяна Николаевна Сиверс с сыном, юношей лет семнадцати... Много она рассказывала о жизни в России — ее муж погиб на Солов-

ках, она туда ездила к нему на свидание и, если не все, то многое увидела и поняла... Полное отсутствие писем из России тоже могло бы навести (эмиграцию, — И.К.) на мысль о том, что там творится".

Могло — да не навело. А тут еще история подбросила дьявольский вопрос выбора между Гитлером и Сталиным, и российская эмиграция в силу присущего ей максимализма бросилась выбирать...

И вот, когда в 46-м году начали не только насильственно возвращать в СССР "перемещенных лиц", но и даровали "право на возвращение" и право на "восстановление в гражданстве СССР" (какое, подумайте, благо!) белой эмиграции, — доверчивые люди с младоросскими идеалами в душе потянулись получать это проклятое гражданство, повлеклись в консульства за советскими паспортами.

"Говорят, во Франции около 10 тысяч русских эмигрантов тогда взяли советские паспорта... Теперь, думается, что это была акция, нужная советской пропаганде ввиду сведений об истинном положении в СССР, которые узнавались через вторую эмиграцию в Европе: властителей, бежавших из немецких лагерей, пленных солдат, вывезенных немцами украинских и белорусских девушек. Эти всячески прятались, укрывались от возвращения на родину..."

В 1947 году, с началом "холодной войны", 24 активиста из числа членов новоиспеченного "Союза советских граждан", и в их числе И. К. Кривошеин, были арестованы французскими властями и выдворены из Франции. Куда? В советскую оккупационную зону Германии. Там советская администрация подержала их некоторое время ("никого не обижали, кормили и даже под конец стали пускать группами в город"), а затем назначила каждому, в каком советском захолустье ему отныне жить, и этапировала туда. Полагаю, что к этому времени новые советские граждане уже многое поняли, — но что им оставалось делать?

Следом за ними приехали в СССР семьи. До начала массовых арестов возвращенцев оставался год, много два...

Игорь Александрович был арестован 20 сентября 1949 года. Стандартный приговор: 10 лет. Мелькнула была надежда на возможность пересмотра дела, вмешательства высоких властей: Нина Алексеевна пробилась в Москве к известному советскому прихлебателю, за-

шитнику мира во всем мире, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю. Была внимательно выслушана, обласкана и обнадежена владыкою, который, оказывается, дружил с самим "президентом" Шверником (Николай Михайлович хороший человек, очень добрый, хороший друг, я с ним на ты").

"Сколько же лет я все еще буду верить обещаниям!" — только и оставалось воскликнуть после этого свидания Нине Алексеевне.

При Хрущеве, летом 1954 года, происходит пересмотр выдуманного "дела" Игоря Александровича Кривошеина. Он освобожден и реабилитирован. Но при том же Хрущеве, спустя три года арестовывают сына Кривошеиных, Никиту. Обвинения тяжкие — "измена родине" (Никита родился во Франции), "шпионаж". Слава Богу, и то и другое отпало; вовсе не выпустили, но переквалифицировали на "антисоветскую пропаганду". Три года лагерей.

В 1971 году Никите, а в 1974 — его родителям удалось вернуться во Францию. Таков конец этой безрадостной эпопеи.

О ней необходимо было рассказать "городу и миру". В назидание потомству. В противовес новым подлым выдумкам советской пропаганды. И не случайно воспоминания Н.А. Кривошеиной вышли в солженицынской серии "Всероссийская мемуарная библиотека" — они многого стоят.

К сожалению, Нина Алексеевна не дожидаясь выхода ее книги в свет — она скончалась в Париже 29 сентября 1981 года.

Воспоминания ее обрываются январем 1954-го — тем днем, когда она получила известие о начале пересмотра дела ее мужа.

Книга ее представляет интерес не только как правдивая история жизни русской семьи, одной из тысяч эмигрантских семей. Нина Алексеевна встречалась с множеством разных, — по своему ярких или просто любопытных людей, — и о каждом, кто оставил след в ее памяти, рассказывает подробно и точно, ничего не приукрашивая.

Вот мать Мария, погибшая в нацистском концлагере:

"Я была у ней в ее камерке раза три-четыре — и вот как-то, пожалуй уж под конец, я сидела и слушала ее... и вдруг что-то вроде шока, и я во мгновение ощутила, что со мной говорит святая, удивительно, как это я до сих пор еще не

поняла!.. А вот в памяти от этих минут осталось только ее лицо — лицо немолодой женщины, несколько полное, но прекрасный овал, и сияющие сквозь дешевенькие металлические очки, незабываемые глаза".

Вот смазливый мерзавец Качва, многолетний, как впоследствии выяснилось, агент КГБ во Франции. Вот супруги Романовы, сибирская чета, "люди уже немолодые, слащавые до приторности — он бывший счетовод и... бывший ктитор и регент хора в уже не действовавшей в то время церкви, она — отличная белошвейка, и повариха, и первоклассная хозяйка". Оба — гебистские сексоты, тоже с многолетним стажем, продолжающие "стучать" и на склоне лет...

Вот сановный ученый, академик Беклемишев, из древнейшего дворянского рода, но отлично уживающийся с советской властью.

А вот другой ученый — профессор Любищев, едва не съеденный той же властью... Кстати, ленинградский писатель Даниил Гранин написал о нем недавно отличную книжку под названием

"Эта странная жизнь".

В воспоминаниях Н.А. Кривошеиной дан также любовно выписанный, подробный портрет ее отца — инженера, промышленника, "русского Форда" А.П. Мещерского. Рассказывает она, между прочим, и об удивительной истории, приключившейся с ним задолго до революции: ему при довольно странных обстоятельствах предсказали его дальнейшую судьбу, вплоть до потери состояния и смерти за границей. Предсказание в точности сбылось.

Ниной Алексеевной Кривошеиной названы десятки имен, затронуты многие пласты истории российского общества. Подобным книгам суждена долгая жизнь, а их авторы заслуживают вечной благодарности сегодняшних и будущих историков России нового смутного времени. Нашего времени.

ИОСИФ КОСИНСКИЙ

Н. А. Кривошеина "Четыре трети нашей жизни". ИМКА-Пресс, Париж, 1984

«КОНТИНЕНТ» — № 40

Свое десятилетие "Континент" встречает, возможно, не в той эпохе, в какую он начался. Его начало одинаково далеко отстоит и от хрущевских ужимок, и от андроповских конвульсий. Два лидера успели благополучно сойти за это время с кремлевского небосвода.

Лев Консон в приветствии к десятилетию "Континента" пишет: «Не от хорошей жизни появился "Континент"».

Как бы продолжая его, Иосиф Бродский замечает: "Боюсь, что "Континент" приговорен к долгому будущему... /.../ Радоваться или горевать по этому поводу — я не знаю".

Заслуги этого журнала слишком многочисленны и обширны, чтобы можно было перечислить их в небольшой рецензии. К главному его достоинству

принадлежит то, что это, бесспорно, самый распространенный журнал в метрополии; не хочется даже думать, что он эмигрантский — разве что споры иногда (когда журнал их помещает) напоминают об этом.

Авторы сорокового номера "Континента" (кроме Адама Михника, Виктора Ворошильского и Кшиштофа Ежевского) — все находятся ныне вне пределов железного занавеса. Чем жертвует человек — собой, уезжая из России, или — Россией, приезжая на Запад? Так или иначе — но жертва есть, и тема жертвы, тема всем очень понятная, незапамятная; скоро уже тысяча лет будет, как язычники перестали приносить жертвы.

Не знаю, как кто, а я давно ждал такого стихотворения, как написал Игорь Чиннов.

*Мир наступит не скоро
На Земле этой глухой.
На полях Сальвадора
Ищут матери трупы.*

*На родном пепелище,
У сожженного крова,
Ночью каждая ищет
Своего дорогого.*

Возможно, такое "стихо" можно

было напечатать и в "Литературке", и в "Правде". (Как напечатали одновременно Николая Глазкова и в "Континенте", и в советском поэтическом альманахе: "...век двадцатый, век необычайный. / Чем он интересней для историка, / Тем для современника печальней".) О том же самом печальном веке пишет Игорь Чиннов. Не потому, наверно, пишет, что в Сальвадоре больше всех пролили крови, а потому, что везде она сходная...

Может быть, поэтому вышел таким ошарашивающе невыразительным "социологический рассказ" обыкновенно оригинального Александра Зиновьева, что он вдруг решил "пожертвовать" всем человечеством и посмотреть, что будет. "В результате третьей мировой войны все крупные государства планеты были разрушены". В следующей фразе ожидаешь какого-нибудь одинокого чудака, вспоминающего свое прошлое и борющегося за существование, не тут-то было. Неудача Зиновьева подтверждает банальный тезис, что герой литературы есть пока что человек, а не все человечество, поскольку это понятие неконкретно.

Литературная судьба Льва Консона относится к таким, про которые говорят, что автор вот однажды проснулся знаменитым. Может, о славе пока говорить рано, но то, что в русской литературе есть еще один писатель, бесспорно. Новые (или новопубликуемые) повести Консона названы "короткими" — в отличие от "кратких", составивших отдельную книгу о ГУЛАГе. Традиции, откуда он черпает, довольно определены: это, думается, французские моралисты XVII века (Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйер), — и видишь, что мало что с этим делом переменялось — разве что место действия и действие места. Одну из этих повестей надо бы привести целиком:

"А ты не ори, что я без очереди! Думаешь, не знаю, за кем стою? Ты убогонькую спроси. Я как пришла, так за ней все стою. Ты любого спроси. Вот и убогонькая скажет.

Я свою очередь знаю. Я за убогонькой стою".

В воспоминаниях Т.А.Миллер-Неклюдовой, происходившей из обедневшей дворянской семьи, живо обрисовано российское бытие — до- и пореволюционная провинция. Этими воспоминаниями "Континент" начинает серию публикаций подобного рода: если все они будут столь же интересны, это замечательно. Вот сцена раскулачивания:

"Мы ходили по хатам. Всюду нас провожали глаза, полные ужаса. Лезли из кожи вон докторша и уборщица. Они поминутно кричали: "Смерть кулакам! Уничтожить их как класс!" Более отвратительного зрелища я за всю жизнь не помню. В хате нас встречал хмурый хозяин, плачущая жена и испуганные глаза детишек, теснившихся в углу. [...]

Хорошо, что мы были молчаливыми свидетелями и от нас не требовали каких-либо заявлений. За всех старались докторша и уборщица".

Весь этот советский бред в конце концов остался для Т.А.Миллер-Неклюдовой в прошлом: "В 1943 году мы с мужем ушли на Запад. И на этом можно поставить точку".

Статья недавно скончавшегося Якова Виньковецкого "Врата рая" посвящена известному библейскому эпизоду — сцене грехопадения, из которой вытекают основные контуры философии жизни в европейском понимании. Из этого эпизода выводится понятие опыта как суммы отраженных сознанием тех или иных ситуаций, в которых Некто оказался: "Жизнь единичного человека соединена тысячами интимных нитей с историей мира. Никто не знает, как долго будут длиться последствия самого внешне незначительного поступка".

Многие поэты, впрочем, это знают. Если не про все поступки, то про некоторые. Не только о преображенности, но и о неизменности, инерции.

"Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова" Иосифа Бродского как бы дополняет его же "Литовский дивертисмент" с тем же посвящением,

*Существуют места,
где ничто не меняется. Это —
заменители памяти,*

*кислый триумф фиксажа.
Там шлагбаумы на резкость
наводит верста.*

*Там чем дальше,
тем больше в тебе силуэта.*

Кажется, главный редактор "Континента" Владимир Максимов давно смекнул, что чем больше будет авторов, не похожих друг на друга, тем более "узнаваемым", непохожим и интересным будет силуэт журнала. Есть, конечно, у него и другие редакторские секреты, но принцип действительного плюрализма в "Континенте" соблюдается весьма ревностно, и до сих пор журнал не в чем

упрекнуть на этот счет. А тот факт, что этот журнал уже 10 лет как является одним из самых популярных журналов и на родине, и в эмиграции, говорит сам за себя.

Анатолий Копейкин

Сергей Юрьенен
**ВОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК**

Роман

Нью-Йорк, 1983, 320 стр. \$18.50

Авторам от «Стрельца»

В связи с поступлением в "Стрелец" многочисленных рукописей, мы сообщаем о том, что по поводу не принятых к публикации произведений редакция журнала в переписку с авторами не вступает.

ВНИМАНИЕ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

Литературная консультация,
литературная запись мемуаров,
редактирование, корректура,
переводы на английский язык,
уроки русского языка.

Перепечатка на машинке.

Оплата по договоренности.

Просьба звонить по телефону:
201-432-9636 после 7 ч. вечера

А. Ветлугин

ЗАПИСКИ МЕРЗАВЦА

МОМЕНТЫ
ЖИЗНИ
ЮРИЯ БЫСТРИЦКОГО

Сергею Есенину и Александру Кусикову

УП

У ГОЛЬДЕНБЛАТА

– ОСИП ЭДМУНДОВИЧ ДОМА?

– ДОМА, ДОМА, У НИХ СЕЙЧАС ВЕСЕЛЬЕ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ. ЖИЛЬЦЫ СО ВТОРОГО ЭТАЖА УЖЕ ДВА РАЗА прибежали, жаловались. Генеральша Дормидонтова, простите, беременна, а у Осипа Эдмундовича чуть не цыганское пение.

Петр Федорович выслушивает доклад сонного всклокоченного швейцара и кладет резолюцию:

– Рожать, говоришь, твоя генеральша хочет? В приют, в приют, нечего дома безобразия разводить. Хорошего не родит, так еще один байструк.

Петр Федорович, несомненно, в этом доме хорошо известен. Страхи мои пропадают.

Троекратный "боевой" звонок и по коридору топочут сразу несколько пар ног. Дверь открывает маленький человечек в золотом без оправы пенсне, с кучерявой эспаньолкой, сильно выпивший: и запах слышен, и на ногах нетверд.

– Профессору мое почтение! – охрипшим голосом возвещает он прибытие Петра Федоровича. Коридор и соседние комнаты отвечают единодушным "ура". Кто-то от избытка чувств играет туш.

Петр Федорович раздевается, швыряет пальто, шапку, портфель прямо на пол, хватает маленького господинчика за плечо и привлекает его ко мне:

– Знакомьтесь, любите, размножайтесь. Юный мой друг, Быстрицкий Юрий Павлов, сын лекаря, романтик и мошенник. Гольденблат Осип Эдмундов, зубодер, развратитель девиц, всемосковская знаменитость. С гостями не знакомлю; кроме Ирины Николаевны достойных сюжетов не вижу.

Коридоры и соседние комнаты рычат. Гольденблат немедленно вступает за честь гостей:

– Молодой юноша! Каждый другой заплатил бы Гольденблату кровью за подобные слова. Принадлежу к Израилю, но правила кавказские. Нам каждый гость ниспослан Богом, какой бы ни был он страны. Ниспосланы Богом и вы. Входите. Развлекайтесь. Колбасу можно прямо руками, женщин на первый раз без рук.

Осип Эдмундович весьма удовлетворен собственным остроумием, обнажает ряд гниловатых мелких зубов, неспособных создать рекламы его зубоврачебному кабинету.

– Осип Эдмундович, – в коридор просовывается голова с багровым носом и седым ежиком, – по правилам нашей логи нового брата необходимо познакомить с устройством дома и организацией комнат скорой половой и иной помощи.

Петр Федорович, стоящий перед зеркалом и старательно припудривающий лицо, замечает мне:

– На этого гостя, Юрий, наплюй с высокого дерева. Ретроград, невежа и феодал.

– Нет, нет, профессор, – перебивает Осип Эдмундович, – решительно не могу допустить. Вы, конечно, человек ученнейший, будущая гордость России, но у каждого свои достоинства. Молодой юноша, во-первых, снимайте верхнее платье, удобней во всех случаях; во-вторых, не смущайтесь; в-третьих, знакомьтесь; а, в-четвертых, готовьтесь к обозрению помещений нашей логи. Зубов рвать не буду, пломб не навязываю. Будьте, как у нас в Кременчуге говорят – "как у Верочки". То есть, ничего скабрезного; означает – будьте уверены. Сырой крови на мацу евреи не употребляют, на погром погромом не отвечают, для правожительства зубной врач тоже не плохая профессия.

Я смущенно раздеваюсь, машинально протягиваю руку многочисленным гостям, толпящимся в коридоре, и под звуки продолжающегося туша следую за Петром Федоровичем и Осипом Эдмундовичем, в огромную, ярко освещенную комнату. Во всю длину комнаты выстроен стол; исполинская ска-терть уже изрядно залита красным вином; лужицы трогательно пересыпаны солью. Гости, по-видимому, отужинали и расположились в самых непринужденных позах. За роялем работает худой юноша ярко семитского типа. Рядом с ним, облокотившись на крышку рояля, покачивается пожилой почтенный господин. Не то доктор с большой практикой, не то старшина клуба. Однако его почтенная внешность не вызывает никакого уважения со стороны Петра Федоровича. Мой ученый и таинственный друг шепотом, достаточно громким, сообщает:

– Ноль внимания и на этого. В дело пускается лишь против приезжих, единственно для непонятого разговора. Болтун и дурак. Немедленно к Ирине Николаевне. Об остальных потом.

Ирина Николаевна сидит в углу, в глубоком кресле.

Издали я замечаю лишь златокудрый нимб. Мы подходим. Петр Федорович сразу меняет тон и лысый его череп почтительно склоняется.

— Ирина Николаевна! Рекомендую моего друга. Он невинен, прекрасен, подает надежды, нуждается в руководстве.

Бледное продолговатое лицо остается бесстрастно. Полу-презрительно она протягивает руку — и ее рука меня разочаровывает. Плебейская, красноватая, с короткими, невыразительными пальцами. Рука горничной, ставшей кокоткой. Мы берем стулья, подсаживаемся. Петр Федорович страшно лебезит, делает комплименты ее плечам, волосам, глазам. Она слегка оживляется и, улыбаясь, показывает зубы — ровные, удлиненные, какого-то кремового цвета. Она заговаривает и — голос ее лишен металла и потому в смехе режущая неестественность. Мне приходит в голову спросить, не из Закавказья ли она. В Тифлисе, в Баку нередко попадаются такие нежные, золотоволосые, почти венецианки. И только руки, ноги, уши выдают их плебейское происхождение. Но в этот момент подбегает Гольденблат. Он уже успел потерять пенсне, шурит глаза, взъерошивает эспаньолку.

— Невозможно, решительно категорически запрещаю. Оккупировали Ирину Николаевну, оскорбили гостей. А кроме всего и потолковать не успели. Очень вас попрошу, Петр Федорович, проследовать вместе с юным другом в мой кабинет.

К моему удивлению, Петр Федорович немедленно соглашается.

— Ирина Николаевна. Вы простите нас, нам потолковать с минутку.

Ирина Николаевна тем же глухим ироническим голосом отвечает:

— Нет, не прощаю, потому что и я хочу присутствовать при разговоре.

Петр Федорович энергично трет лысину — что у него признак величайшего замешательства — и бросает недоуменные взгляды на Гольденблата. Осип Эдмундович вконец сощуривает глаза.

— Я полагал, прекраснейшая Ирина Николаевна, что в моем, так сказать, хозяйском качестве, вас обязался я оберегать от деловых разговоров и всего прочего, не дамского, не прекрасного.

Ирина Николаевна презрительно смеется.

— Вы полагали... А я полагала, что вы не полагали в вашем хозяйском качестве, что я такая идиотка. Довольно ерундить. Без меня все равно не порешите.

Осип Эдмундович всплескивает руками и в миг меняет и тон, и голос, и позицию.

— Олимпийские Боги, Бог Израиля и все остальные... Да разве я, да счастлив буду. Да пожалуйста, о Петре Федоровиче и говорить нечего. Знаете его пристрастие к вам. Идемте, идемте, счастлив буду.

Петр Федорович мычит что-то невразумительное, вскакивает со стула и калачиком предлагает руку Ирине Николаевне. Она отвергает, лениво вытягивается в кресле. Так и есть, с ногами тоже неблагополучно. Голову об заклад, из Баку.

Мы проходим через столовую. Худой юноша и почтенный господин провожают нас острым понимающим взглядом. Остальные гости продолжают развлекаться. Из гостиной выплевывает граммофон: "Букет ты белых хризантем"...

2

— Ирина Николаевна, — лебезит Гольденблат, — вам уж

придется на председательское место, руководите нами, поучайте.

Председательским местом оказывается кресло перед бор-машиной. Ирина Николаевна садится, откидывает голову на высокую спинку, и волосы ее горят в пожаре рефлекторной лампочки. Заседание открывается. Слово принадлежит Петру Федоровичу.

— Так вот, господа. Друг мой и отец, то есть так я его именую, а вообще он чрезвычайно молод. Отец мой, Юрий Павлович Быстрицкий, пожелал соучаствовать в наших предприятиях. Пока что поставил я его в известность относительно основных наших целей. Теперь разрешите мне перейти к деталям и выработке условий. Осипа Эдмундовича попрошу не бегать по ковру и принимать участие в беседе.

Осип Эдмундович останавливается и делает бесконечно наивные глаза.

— Что вы, что вы, дражайший профессор, я ведь пенсне только ищу, я ведь без всякой задней мысли.

— О задних мыслях говорено не было. Если же вы намекаете.

Петр Федорович густо багровеет и я предчувствую повторение давешней сцены в ресторане. Но тут повелительно вмешивается Ирина Николаевна.

— Надоело, Петр Федорович, я уже все это слышала. Молчите оба. Я объясню в двух словах. Господин Быстрицкий, вас я попрошу не заблуждаться. Вы находитесь в игорном притоне. Осип Эдмундович, без жестов, без восклицаний, не то я плюну и уйду. Да, господин Быстрицкий, в игорном притоне. Если вы чистюлька, немедленно отправляйтесь домой и зубрите ваши лекции.

Я оскорбляюсь и сухо поясняю, что я не чистюлька, что пришел сюда для дела, а лекции мои остаются при мне и никого не касаются. Председательница слушает с любопытством и вниманием.

— Ну раз не чистюлька, тем лучше и для нас. Продолжаем, что нам нужно от вас и что мы дадим вам? Петр Федорович неоднократно о вас рассказывал. Заранее нас привлекло, что вы студент с мечтательными глазами. Вы должны дополнить программу наших вечеров организацией собеседований. Понимаете? О, вы не чересчур догадливы. Привлекаете студентов, до двенадцати идут споры, о чем хотите. О Боге, о Вейнингере, словом, что в голову взбредет... Зачем нам нужно это? Просто, очень просто. Кроме купчишек и прочей сволочи, у нас бывает так называемая интеллигенция — адвокаты, путейцы, доктора с большой практикой. Ужином их не заманишь, женская приманка по многим причинам невозможна. А вот тут-то студенческие споры, молодая Россия, ну, словом, как это принято. Все они вохляки, растрогать нетрудно. За полночь орут, а в первом часу не угодно ли — небольшая студенческая железка по копейке. Начнут с копеек, дальше видно будет. Студентам вашим проигрыш возвращается. Поняли?

— Я понял, я великолепно понял, но как же это будет выходить?

— Очень просто... И входить и выходить. С каждой третьей, выигранной банком карты — а банкомет у нас свой — вы получаете десять процентов.

— Ирина Николаевна, — не выдерживает Гольденблат, — невозможно, категорически невозможно.

— Что? Много или мало?

— Не то, не то... Как же так сразу вы нас бандитами представляете? Я все же человек с дипломом. Вы бы могли...

— Осип Эдмундович, — Ирина Николаевна приподнимается и грозно смотрит на Гольденבלата, — или по-моему, просто, ясно, без слюнявств, или вы меня больше не увидите.

— Но, Ирина Николаевна, вы не так ставите вопрос.

— Никаких вопросов уже нет. Есть ответы. Петр Федорович, сразу, без почесывания головы, да или нет?

Петр Федорович забился в угол дивана. Уши его горят. Он едва находит сил кивнуть головой.

— Осип Эдмундович, теперь вы, да или нет?

Смиряется и Гольденבלат. Очередь за мной. Я бы многое мог сказать. Но пожар этих волос, но эти презрительные и не прощающие глаза. Разве им можно возражать?! Да, да, конечно, я согласен.

— Теперь, Осип Эдмундович, потрудитесь объяснить Юрию Павловичу все детали, а я пойду в столовую. Там, небось, ваша сволочь перепилась и заговоры устраивает.

Ирина Николаевна сходит с зубоврачебного кресла и, не удостоив нас более ни одним словом, отправляется в столовую.

3.

Гольденבלат смущенно шмыгал по ковру. Петр Федорович, забившись в угол дивана, угрюмо молчал. Я думал обо всем происшедшем и рассматривал блестящие инструменты, которыми скалился огромный зеркальный шкаф. Прошло минуты две. Из столовой по-прежнему доносились взрывы пьяного гоготанья и пронзительные крики. Кто-то предлагал засунуть в граммофон тряпку, кто-то басистый угрожал набить морду за "оскорбление памяти покойной Вари Паниной"...

Огромные бронзовые часы с амурами, обнаруживавшие всю бездну вкуса Осипа Эдмундовича, не тикали, а как-то шелкали, словно маленькими сахарными щипцами пытались расколоть волошский орех. Становилось тягостно и глупо до остроты.

— Петр Федорович, — не выдержал я, — четвертый час. Пора бы на боковую.

Вот тут-то Гольденבלат и сорвался. Он подскочил ко мне, схватил меня за борт пиджака и, забрызгивая слюной, фонтанами бившей меж черноватыми осколками зубов, затараторил:

— Вам, молодой человек, все домой, все, небось, о девочках думаете, все бы на дармовщинку...

— Позвольте, позвольте, я никак не могу позволить...

— Нет, уж теперь и мне позвольте. Я за вами наблюдал, всюю наблюдал. Когда Ирка здесь мою репутацию подрывала, вы только губами подергивали. Мне, мол, плевать. Я домой уйду. Нет, ошибаетесь, молодой человек. Не уйдете. Мне всего на свете дороже репутация. Меня вся Москва знает. У меня покойный великий князь не гнушался заказывать золотой мост, у меня адмирал Дубасов...

— Не орите на меня, — вскипел и я в свою очередь, — никакими губами я не подрагивал. А уж если вы хотите знать, плевал я на вашего покойного князя, на вашу Ирку и на все прочее.

— Вы слышите, вы слышите, Петр Федорович, как ваш протеже благороднейшую барышню оскорбляет. Да знаете ли вы, господин студент, что Ирина Николаевна — изысканнейшая девственница, что таких, как вы, она и на порог не пускает. Петр Федорович, я вас в последний раз призываю высказаться.

Петр Федорович встал, вышел на середину комнаты, взял за руку меня и Гольденבלата.

— Вот что, ребята, — сказал он каким-то исключительно внушительным тоном, — немедленно миритесь и сговаривайтесь. Иначе ноги моей у тебя, Гольденבלат, не будет, а тебя, Юрий, из списка друзей исключу. Ну, живо.

Мы нехотя пожали друг другу руки.

— Петр Федорович, — начал было я, — собственно, я не знаю, за что на меня господин Гольденבלат накинулся.

— Брось, брось. Знаешь отлично. Видишь, как его девочка взволновала. Он человек действительно почтенный, добрейший, но, понимаешь ли, любовь опустошающая, фантастическая...

— Петр Федорович, — залепетал мигом растаявший Гольденבלат, — это только ваши предположения.

— Не смущайся, Эдмундович, гордись. Девка очень стоящая. Ну, довольно, будет, о деле поговорим.

— Да, да, о деле, именно о деле, — подхватил Гольденבלат — забудем ссоры и о деле. Я, дорогой юноша, как Петр Великий, страшен во гневе, неистощим в доброте.

Я посмотрел на "Петра Великого" и закусил губу. Голова его, напоминавшая взъерошенный кочан, прыгала по противоположной стене, заостренная жиденькой бородкой. Пунцовый галстучек развязался и недостаток пуговиц на манишке обнаруживал буйную растительность.

— Осип Эдмундович, а сколько лет Ирине Николаевне?

— Понимаю, господин студент, на разницу лет и наружностей намекаете. Действительно, Вулкан и Венера. Лет ей немного, двадцать один, но опыт огромнейший, и добродетель тоже огромная.

— Юрий Павлович, — вмешался Петр Федорович, — о сей, как он ее назвал, Венере, я тебе хоть целый день рассказывать буду, а сейчас потолкуем о серьезном. Займи место за столом. Гольденבלат, марш на диван и — за диспозицию.

Мы присели и на этот раз разговор быстро привел к благополучному окончанию. Я соглашался на все. Любой ценой я решил купить право как можно чаще видеть эту решительную барышню. Да и ползущий парный рассвет оказал свое действие. В конце концов, не все ли равно. Если и Петр Федорович такой, то уж куда мне? Хорохориться не к чему. Не хочу быть чистойлкой. Десять процентов с третьей карты? Отлично. Доклады на жгучие темы? Еще лучше. Могу ли привлечь идейную часть студенчества? О, конечно. Договорились о первом вечере и присоединились к остальным гостям.

Ирины Николаевны уже не было. Она уехала домой. Я подождал, пока Петр Федорович расправлялся с копченым гусем и рассеянно слушал, что мне нашептывал господин, похожий на почтенного доктора.

Звенели первые утренние трамваи. На двадцать четвертом номере в сторону Лефортова ехали хмурые, оборванные люди. И где-то за Москва-рекой пробуждались взедливые фабричные гудки.

— Петр Федорович, а что эта... Ирина Николаевна действительно девственна?

— Не знаю, отец, не осматривал. Знаю, что изящная нога лучше девственницы.

О, Петр Федорович! О ревностный собиратель творений отцов церкви! Как растаяла его слава в это ноябрьское сыкатное утро. Какими порочными преступными синяками сковал рассвет его ученнейшие близорукие глаза, что, как две неумолимых гончих сквозь стекла пенсне накидывались на юного неискушенного референта.

4.

В карты мне приходилось играть и раньше, задолго еще до университетского ученья. В Новороссийске гимназистом седьмого класса частенько шлялся в кабачок на Стандарте, где в задней комнатке сражались в девятку молодые офицерики, греческие капитаны и наш брат-гимназист. Но то была игра пустяковая. Зеленели трешки, синели пятерки, громыхали рублишки. Редко-редко, когда багровый поручик извлекал красненькую или попавшийся пижон менял оранжевую...

У Гольденבלата ниже пятидесяти рублей и ставки не было. Гольденבלатовская клиентура составлялась больше из приезжих сибиряков. Является такая борода, пропускают ее через столовую, накачивают рябиновой, коньяком, смертоубийственными смесями ликеров. Борода в раж. Бороде море по колено. На тройке останавливается, на шестерке тянет, и ежесекундно лезет за голенище, где в коленкоровом мешочке потеют и мнутся пятачки... До сих пор не знаю, шла ли игра в честную или с накладкой. То есть, конечно, совершенно в честную не могли играть, но может быть ограничивались какими-либо значками, вспомогательными средствами. Поначалу я заметил, что к дежурной гуляющей бороде неизменно подсаживается Ирина Николаевна и, когда борода карты смотрит, смотрит и она, и банкомету моргает — либо бровью, либо сморщит лоб, либо сжимает веер и стучит по столу. Банкометом бывал и сам Гольденבלат, но лишь по дням особо торжественным, в случае большущего скопления играющих. В дни будничные Гольденבלат сажал своего "наемного убийцу", ласкового тихого старичка с Анной на шее. Старичок успевал каждому новичку поведать весь свой формулярный список. Служил на таможене восемнадцать лет, перешел в неокладные сборы, достучал до пенсии, имеет одну дочь в Смольном, другую за остзейским бароном, третью на фребелевских курсах. Прихожанами Николая на Песках избран в церковный совет, ни к каким партиям не принадлежит, полагает, что народишко распускать опасно, но и в нагайку свинец зашивать также неуместно.

— Ваше Превосходительство, — скажет Гольденבלат после сладкого, — а не порадуете ли вы нас мастерским и коректнейшим банкометством?

— А что ж, дорогой, пораду, пожалуй. Оно, конечно, поздновато. Дочка волноваться будет. Но уж для вновь прибывшего на что не решишься.

Тут Гольденבלат незаметно совал старичку бумажник с деньгами — комедия начиналась. Старичок получал с каждого снятого банка десять процентов и выпрашивал ежедневно прибавку — до пятнадцати. Эта его просьба неизменно наталкивалась на сладчайший, но категорический отказ.

— Дорогой и неоцененный генерал, верите ли вы честно-му слову врача, облегчающего страдания человеческие? Не то, что пятнадцать, все сто процентов отдавал бы вам, лишь бы порадовать вас и дочек ваших. Но поборы полицейские заедают. Неслыханные, грабительские. Живи в первой Тверской или второй Пречистенской... дело десятое. Пристава — люди нашего класса, с университетским значком. Сговориться всегда можно. Ну а у нас, сами знаете, бурбоны, ансьен режим. Ничего знать не хотят. Вынь да положь. В прошлом месяце пришлось восемьсот пятьдесят рублей собственных доложить.

Генерал вздыхал, прижимал к Анне тшедушную грудь Гольденבלата и на всякий случай выпрашивал десятку *extra*, на почтовые расходы.

Относительно полиции и поборов Осип Эдмундович преувеличивал. Хотя он жил и не в первой Тверской и не во второй

Пречистенской, но с подполковником Николаем Трофимовичем Удинцовым уживался отлично. По воскресенья в честь Николая Трофимовича устраивался обед с "французенками". Из "Аквариума" призывались две-три вертихвостки с длиннейшими французскими фамилиями и волжским произношением. Прибытие Николая Трофимовича сопровождалось звуками славянского марша — усердствовал все тот же юноша с семитским профилем — и дружным визгом всех присутствующих французенок. Под салфетку прибора Николая Трофимовича подкладывался конверт с вложением. И так как пробки хлопали поминутно, и так как щетинистые щеки подполковника лакировались обильными поцелуями, то для критики конверта не создавалось ни малейшей возможности. Пристрастие подполковника к французенкам объяснялось единственно вывертами психологического подхода Гольденבלата.

— Вы, молодой юноша, не понимаете. К психологии каждого особый подход, как к зубу. Один рвешь, другой пломбируешь, третий подпиливаешь. Подполковник наш о чем мечтает? Сравняться с московским столичным градоначальником. А градоначальник без французенки ни шагу. Вот вы и представьте, какие именины сердца у милейшего Николая Трофимовича, когда он французскую речь слышит. Пристав, но начальству не уступает.

Петр Федорович оставался насчет подполковника при особом мнении. По его сведениям, Николай Трофимович жил с кухаркой, рязанской семипудовой бабой. Ирина Николаевна, когда поднимался этот стародавний спор, презрительно улыбалась и скучала.

— Вы подумайте, Осип Эдмундович, какой чепухой забиты ваши мозги. Швырните вашему приставу пятьсот рублей и делу конец.

— Молодо-зелено, — отплеывался Гольденבלат.

Впрочем, никто не имел понятия о действительных размерах воскресных конвертов.

— Пришлось на этот раз триста вложить, — грустно глядел в глаза Петру Федоровичу Гольденבלат. Петр Федорович сердито чесал лысину и отмалчивался.

— Что делать, дорогой Юрий Павлович. Выживаемость низших организмов.

5.

Неделю я приглядывался. Не столько к гостям и к обстановке, сколько к Ирине Николаевне, хотел с ней поговорить, раскусить, что за фрукт. Но Ирина Николаевна ни на пядь не отступала со своей позиции строго деловой женщины. На все мои допросы и подходы отвечала резким требованием — "начать работать". Пришлось начать.

Организация рефератов в доме Эдмундовича являлась делом далеко не легким. Участники — студенты должны были соединять в себе: легковерие, страсть к игре, мечтательность, охоту спорить, отсутствие болтливости. Выбирать приходилось с исключительной осмотрительностью. В каждом отдельном случае я прибегал к помощи авторитета и незапамятной репутации Петра Федоровича.

— Этого, Юрий, брось. Этот назавтра всю Моховую взбудоражит. Или: с этим не возись — пьянчужка, дармоед и дурак. На серьезных людей его рефераты произведут отвратительное впечатление.

После долгих поисков я остановился на четверых, которые затем, в свою очередь, должны были привлечь еще трех-четыре и т.д.

Все четверо были в том возрасте московского студента, когда выборы правления столовки уже теряют всякую притягательность и питомец белого здания на Моховой останавливается перед скрещением двух дорог: 1) широкой московской жизни и выхода в адвокатуру, 2) серьезных занятий и оставления при университете. Все четверо еще не совершили окончательного выбора и прелесть половинчатости их душ не могла не произвести впечатления на клиентов Гольденблата.

Юрист Жигуленко любил светлые, широкие, серые пиджаки, шелковое белье, свежие перчатки; в верхнем зале библиотеки меж рядами над попитрами согбленных спин он проходил, благоухая Chevaliers d'Orsay, порождая подозрения в легкомыслии. В здании на Моховой чистота белья и модный покров платья исключали служение науке Иеринга и Иеллинека. Для своих двадцати четырех лет, для пятого года пребывания в студентах, Жегуленко обладал и достаточной лысиной и достаточной искусственностью в вопросах зеленого поля и ночных развлечений. Он меня понял с одного слова, сразу предложил тему — "Власть и право в теории Петражицкого" — только спросил:

— Но вы уверены, что проигранные мной деньги будут возвращены?

Я был уверен и растроган.

В качестве оппонента и бессознательного соучастника, Жегуленко привел Сашу Колчеданова, милейшего англизированного купеческого сынка, жившего в особняке на Пречистенке и бредившего невероятными авантюрами. Колчеданов крепко жал мне руку, благодарил за доверие и просил меня только никому не называть его настоящую фамилию.

— Знаете, до отца дойдет; он, хотя и англоман, но мораль прежнего Рогожского кладбища. Уж придумайте лучше какого-нибудь Сидорова, Петрова, Иванова.

Выбор остальных двух доставил множество хлопот и разочарований. То Петр Федорович "отводил", то объект задавал неуместные вопросы. Мы уже начинали отчаиваться, когда неутомный Гольденблат нашел желанную пару в лице его пациентов, братьев Выхухольских.

— Полячки, действительно, такими мать родила, — извивался Гольденблат, — но мошенники всероссийской складки. Замечательнее всего, обладают слезным даром в размерах нечеловеческих. Про науку ли разговор, про любовь ли к отечеству, про еду ли, в случае всего в глазах всегда слезы, большущие, фальшивые, префальшивые, вроде как бы брильянтища с Тверской, от Териза.

Старший Выхухольский — Станислав — носил польскую корпорантскую шапочку и в совершенстве разработал "номер под Пшебышевского". Неврастения, жуткие двусмысленные слова, угрозы Богу, пророчества о гибели человечества... Подходя к карточному столу, он делал огромные жуткие глаза и каждому новичку шептал на ухо:

— Что это? Посмотрите на этого бубнового валета. Это Он, я чувствую, что это Он.

— Младший — Игнатий внешне казался вконец ассимилировавшимся. Широкая московская натура, умение нагонять счета (при условии неучастия в платежах), цыганские песни, речи о мессианизме в России, о воссоединении славянства. И в картах размах, удаль...

— Эх, где наша не пропадала, тысячью больше, тысячью меньше. Сибиряк, прояви натуру.

Сибиряк проявлял и ставил действительно тысячу. Игна-

тий Выхухольский примазывал один рублик, который потом, при возврате им проигранных денег, обозначался в его счете десятью рублями. Обоих Выхухольских ввиду безнадежности контроля за "проигрываемыми" ими суммами пришлось скоро перевести на проценты.

Так или иначе, но рефераты состоялись. Грехопадение Юрия Павловича Быстрицкого входило в новую фазу. К чести моей надо сказать, что с первого же реферата я правильно учел обстановку и оградил свою душу от бесполезных угрызений. Путем какого-то особого Мохового мальчишеского гегельянства я сумел раскусить опасный грех: под скорлупой шантажа оказалось разумное ядро презрения. Не было жалко никого. Да и можно ли было в сущности жалеть?

Присяжный поверенный Челенцев, трибун, либерал, политический защитник, под шумок через помощников своих занимался делами о железнодорожных увечьях. То, что он успевал награть на отрезанной ноге машиниста, на поломанной руке стрелочника — преисправно привозилось в наш переулочок. До полуночи горячился Челенцев на темы благороднейшие и ни за какие сокровища мира не хотел он уступить нравственного обоснования права. В эти страстные часы состязался он с Жегуленко и Выхухольским старшим. Петр Федорович держал строжайший нейтралитет и вступал в спор лишь для преподания библиографических указаний.

— Простите, коллега Челенцев, говоря о пролегоменах, имели ли вы в виду издание первоначальное или то, которое находилось под рукой у Владимира Соловьева?

Ирина Николаевна приходила на рефераты в глухом черном платье и, когда принимала она сторону Челенцева (а случалось это неизменно), трибун уставлялся в белую полосу тела, спасшюся из-под строгого английского воротника.

После полуночи генерал из неокладных сборов открывал иное заседание. Ирина Николаевна подсаживалась близко-близко к трибуну и, пока жал он ей руку, старичок из неокладных сборов принимал сигнализацию о карте трибуна. После полуночи горячился Челенцев по-настоящему, по-искреннему. Тяжко задыхался, огромным платком тщетно старался остановить ручьи пота, гигантским напряжением воли тщетно старался остановить иссякновение бумажника... Таяло сердце Челенцева, таяли его заработки и, как-то под утро, старшему Выхухольскому признался трибун, что уже затронуты деньги клиентские.

А потом через неделю хлопотливая вечерняя газетка известила нас о жалобе, поданной прокурору увечными железнодорожниками, об аресте присяжного поверенного Челенцева и о предстоящем громком процессе.

Братья Выхухольские блеснули в этот день величиной их слезного дара, Петр Федорович молчал, Гольденблат бегал по бухарскому из Прохоровской мануфактуры ковру, ломая карандаши, изыскивая нового клиента из лево настроенной и денежно солидной интеллигенции. Я смотрел на Ирину Николаевну. Я смотрел на нее уже второй месяц. Она молчала по-прежнему "о пустяках", ее красноречие было неисчерпаемо в делах...

Я проводил ее до самой ее квартиры в Большом Афанасьевском. И от Лубянки до Арбата всю дорогу расспрашивала она о начинавшем входить в известность строителе мостов, инженере Тырковском.

— Будет хороший клиент, Юрий Павлович, за большую сумму могу купить ваши десять процентов.

Уже у парадной двери я не выдержал и спросил:

— Вам не жаль Челенцева?

И, взясь с ключами, обычным глухим ироническим голосом она ответила:

— Чудак вы. Станный вопрос. Конечно, жаль. Но что же делать? Пусть неудачник плачет. Нельзя же в самом деле играть на деньги безногих стрелочников.

... Я шел по Большому Афанасьевскому. Стеклярусом завивалась первая метель и отвыкшие от снега вороны каркали изредка и неуверенно. Играет ли Ирина Николаевна или она и в самом деле такая? Ну хорошо, и я не слишком чист, и у меня наготове вереница оправданий... Но женщина с нимбом волос золотистых, с прядями поседевшими в пушинках... Откуда это бесстрашие? После великих страстей? От великой пустоты?... В хлопья сгушался стеклярус. В двух шагах невидимкой топотал встречный, бубенцы звенели, как за сценой, в конце гигантского зала... И при переходе через Арбат почти сшибли меня разлетевшиеся сани. Роясь в снегу, я ищу заледневшими пальцами шапку, а знакомый голос кричит:

— Ого-го, чуть своего не убили...

Петр Федорович в длиннейшей медвежьей дохе подбегает ко мне, путаясь в полах, и, пока я ищу шапку, шепчет:

— Счастливейшая встреча, отец, со мной в санях Тырковский.

Через десять минут мы сидим в "Праге". Бритый мужчина в синей поддевке и лакированных сапогах поглаживает квадратный подбородок, поправляет ежик. Он смотрит в карточку, слушает изогнувшегося полового. Брезгливо сжимает толстые красные губы.

— Н-да, милейший профессор... Пованивает в Первопрестольной. Людишки — дрянцо кисельное, и кабаки не лучше. Изюминки в нашей жизни нет.

— А что вы называете изюминкой?

Тырковский с высокомерным удивлением глядит на меня.

— Изюминкой, молодой человек, не имею чести знать вашего имени отчества, называю я умение доводить все до конца, раскрывать российские ларчики. Строишь мост? Отлично, строй. Но не давай вокруг себя воровать. Необходимо воровать? Воруй сам, самолично пенки снимай, а десятников, поставщиков, прочую сволочь чалдонскую в ежовых, в ежевейших... Иначе, что выходит? Строит россиянин мост, сам ни шиша, другие сто шишей, а вором прослышет именно ваш честнейший строитель. И так, господин профессор и вы, молодой человек, во всем решительно от пупа до тормозов Вестингауза. Покупаешь дом, держись, назовут тебя буржуем, потовыжимателем, крепись и знай одно: дави на жильцов. В карты играть сел, смотри в оба, чтоб не обставили. Не увлекайся дублировать. Выиграл сто, двадцать отложи. Всегда будь строителем, а строительское правило: из рвани не строить. Уж если балки, так железные, уж если шпалы, так дубовые. Вот оно как, а вы говорите. Нет, братцы, пованивает Первопрестольная, кончается.

Петр Федорович прожевывает растегайчики и вежливо вступает за Первопрестольную... И румыны, те же красноглазые, красноперые румынские наглецы на скрипках, вознесенных в высь, кистью, дрожащей в агонии, вымучивают неизбывные удушающие песни... Бессмертная, смертоносная пошлость... И, как всегда, вчера и год назад, красноречивее от красных румын завивается речь Петра Федоровича, перескакивает с отцов церкви на девочек на Страстном, с проекта Мурманской дороги на одну, знаете ли, интеллигентнейшую квартиру в Лялином переулке, где хозяин — строитель жиз-

ни, гости мечтатели и где просвещенный, вроде господина Тырковского, гость дышет воздухом горных сфер... Праздничными накрахмаленными монахинями (в такт "Пожалей ты меня") — и цыганская песня иной раз литургия — снуют полове, бесшумные в разноске подносов, безропотные к кислым речам тяжело захмелевших гостей. Раскрывается ворот синей поддевки, никнет ежик и угловая, деbeatая, кумачнощекая (красно все от румын с их песнью) дама зазывающе глядит на искателя изюминок. Хмелеет, хмелеет господин Тырковский. Он уже утратил сухость, он уже запомнил имя отчество молодого человека, он уже вытащил бумажник желтого с разводами крокодила и хвастает обилием чеков, аккредитивов, оранжевых.. Господин Тырковский целуется с Петром Федоровичем, господин Тырковский радостно глядит в пенсне московского магистранта... И те учнейшие близорукие глаза, что, как две неутомимых гончих, сквозь стекла пенсне, накидывались на юного неискущенного референта в белом здании на Моховой, сегодня, сейчас, в угарном с белыми колоннами зале лучшего московского кабака, набрасываются на всеми пороками искущенного учителя жизни, строителя мостов, покорителя женщин, инженера путей сообщения Аркадия Владимировича Тырковского.

За окном стеклярусом, как прежде, завивается первая метель. Тише, о, тише, красные румыны, скорее, о, скорее разбейтесь бубенцы Арбата, потому что снегом занесло ясные глаза инженера, метелью и песней заполнило его слух. И он не слышит, как через два, три дня сухопарый старичок с Анной на шее, с дочкой в Смольном, скажет подсыпавато: "Bon pour la banque"!..

И он не видит, как через два-три дня стройная женщина в нимбе золотистых волос, в черном глухом платье, возьмет его за руку, моргнет глазом, дрогнет бровью — и воронкой засосет чеки, аккредитивы, оранжевые... И если бы живой в песне румынов и метели мог увидеть себя самого мертвым, то грохнулся бы оземь инженер Тырковский. С простреленным виском, в роскошном кабинете злосчастного Мамонтовского "Метрополя", лежал его труп. Он строил мосты, он всюду находил изюминки, и он пришел в проклятую квартиру в Лялином переулке... На Мамонтовском "Метрополе" фронтописью слова из Ницше:

"Тот, кто строит свой дом, научается жить".

Не научился Мамонтов, не научился и инженер Тырковский.

Жарьте вовсю, красноглазые красноперые румыны... У, какие трескучие крещенские морозы, как трудно рыть могилу в такой мороз, могилу для гордого человека, не простившего себе минутной слабости!

Лялин переулок... Лялин переулок...

Ирина Николаевна перешла и через этот труп.

Ирина Николаевна молчит, она еще раз победила, она еще раз нажила... Но и я... и мои десять процентов не малы. Инженер Тырковский оставил в Лялином переулке не одну сотню тысяч...

Братья Выхухольские обильно плачут и провожают гроб до самого кладбища...

7.

В моей новой квартире на Молчановке шесть комнат. Я встаю ровно в одиннадцать, ровно в полдень мчит меня

серый в яблоках рысак в Толмачевский, за Петром Федоровичем. Петр Федорович остался верен той же квартире, куда первые пришли томы творений Отцов Церкви. Он только заплатил отступное хозяйке и теперь в Толмачах, в мешанской квартире, он один. Прибавилось еще две клетушки. Но Петр Федорович скупает литературу по раннему Ренессансу — и скоро и в целой квартире негде будет приткнуться его студенческой койке.

С полчаса мы беседуем о новостях книжного рынка, потом застоявшийся рысак швыряет в глаза горсть талого снега и в ресторане "Эрмитаж", что на Трубной, элегантный фрак француза метрдотеля кинется навстречу завсегдаям...

Долог, увесист, пьян наш завтрак. Петр Федорович подшафе, он спешит к Шибанову, после завтрака он готов платить любые цены за шибановские уники. А я... Я мчусь на Ильинку. Мне скучно у Сиу, мне опостытели Ильинские котелки и скопческие рожи менял. Но Ирина Николаевна требует.

— Поучитесь биржевому делу, тогда сможете бросить Гольденблата.

— А вы со мной?

— Кто знает, быть может...

Она уходит, сверкнув в солнечном луче нимбом. О, единственная, очаровательная, отвратительная!.. О, эта мощь коротких плебейских пальцев ее красноватой руки, прино-

рвленной для подсчета денег и подписи чеков более, чем для объятий!..

И я на Ильинке...

Я "интересуюсь"...

Я интересуюсь всякой чертовщиной. И ко мне привыкли. Скопческие рожи не удивляются больше моей молодости! В боковом кармане моего пиджака сереет чековая книжка текущего счета в московском купеческом банке. Я могу выписать десять тысяч, двадцать, тридцать, пятьдесят. Ко вчерашнему дню мой счет перевалил за шестьдесят. Гольденблат советует купить дом. Ирина Николаевна не разрешает: идиотизм, малый процент, хлопоты, только металлургические. "Металлургические" ей посоветовал плешивый толстяк, с которым она вчера провела вечер в отдельном кабинете "Эрмитажа". Он не то директор завода, не то банкивец.

— Что ж с ним делали до полуночи?

— А вам какое дело?

— Как... Я полагал...

— Ничего не полагайте, а зарубите на носу. Я пустяками не занимаюсь. Вы мне сравнительно нравитесь. Но, если будете мешать мне в делах, тогда... сами понимаете...

Я молчу, я понимаю, я никну. И под утро у Гольденблата посоловевшими глазами наблюдаю обычное: сигнализирует Ирина Николаевна и "дежурная жертва" потеет и разоряется... Петр Федорович играет с достоинством и... без риска. Ведь он профессор. Гордость собраний Лялиного переулка.

Моя репутация среди гостей Гольденблата за эти два месяца заметно изменилась. Раньше я ходил за молодое "дарование", "будущего профессора", теперь я — "молодой, но блестящий делец", "будущий король биржи"...

Иногда я беседую наедине с четырьмя референтами. Выхухольские собираются уезжать в Польшу, открывать контору по экспорт-импорту, Жегуленко копит деньги для обеспечения спокойных научных занятий, Колчеданов заскучал, разочаровался в авантюрах и часто манкирует...

Мне же иного выхода нет. Сердце мое укушено. Люблю ли я ее или ненавижу? Будет видно по результатам. Может придти день, когда я ее отравлю. Убить? Нет... Я ее верный ученик. За ее смерть сидеть на каторге? Никогда. Незаметно отравлять мышьяком... Или... Любить, любить, до самоуничтожения.

Ах, если б она не была так пошла! В ее душе пятьдесят тысяч лакеев... Ее душа отвратительней ее рук...

Гольденблат ломает карандаши и говорит, что я однолюб, а значит, неврастеник.

— А вы-то?

— Что я?

Слюна брызжет фонтаном...

— Вы старая лиса и мой развратитель.

— Ну... то-то же...

Идиллия, тишина, ожидание гостей, чтение газет... Потом толчок, сердечный перебой... Это значит: она вошла.

(Продолжение следует)



Подробнее ознакомиться с новым "НА" можно заполнив купон:

**ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»**

ПО АДРЕСУ (по-английски печатными буквами):

ИМЯ И ФАМИЛИЯ _____

АДРЕС _____

продление подписки

Цена подписки на год в США — \$ 40
на шесть месяцев — \$ 26, на три месяца — \$ 14
в Канаде — \$ 45 (американских)
в других странах — \$ 65
Авиапочтой за океан — \$ 145

Заполните и пришлите бланк с чеком или мани-ордерами по адресу:

The New American
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
80 Grand Str.,
Jersey City, N.J. 07302

Internationale de la Résistance

Resistance International

ОБРАЩЕНИЕ "ИНТЕРНАЦИОНАЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ"

"Интернационал Сопротивления" является организацией, взносы в которую не подлежат обложению налогом (согласно французскому закону 1901 года о благотворительных организациях).

Цели "Интернационала Сопротивления":

- добиться эффективной координации всех правозащитных и политических акций во всем мире, направленных против тоталитарного наступления;
- обеспечить материальную и политическую поддержку всем демократическим движениям сопротивления в тоталитарных странах;
- предоставить помощь жертвам диктаторских режимов и обеспечить защиту социальных прав беженцев;
- организовать сбор и распространение альтернативной информации из тоталитарного мира;
- добиться признания во всех узаконенных международным правом организаций в качестве самостоятельной общественной и политической институции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Владимир БУКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Армандо ВАЛЯДАРЕС

Желающим вступить в комитет содействия "Интернационала Сопротивления" необходимо заполнить нижеприведенный бланк и отослать его по указанному адресу, вместе с членским взносом. Секретариат высылает членский билет по получению этого бланка.

Я, нижеподписавшийся
проживающий по адресу
прошу принять меня в комитет содействия "Интернационала Сопротивления".

Членский взнос — 100 фф — приложен.

Дата

Подпись

Принимаются с благодарностью также пожертвования, превышающие размер членского взноса. Чеки выписывать на "Интернационал Сопротивления".

Почтовый счет: CCP № 2. 302. 87 T — Paris (FRANCE)
102, AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS (FRANCE) Tel.: 562.86.90

ИЗДАТЕЛЬСТВО "SOURCE" («ИСТОЧНИК»)

НАЧИНАЕТ ВЫПУСК АНТОЛОГИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первая книга "Великие Посвященные" Эдуарда Шюре выйдет из печати в июле этого года. В книге освещены вопросы появления человеческих рас и происхождения религиозных систем, а также рассказывается о жизни Рамы, Кришны, Гермеса, Моисея, Орфея, Пифагора, Платона, Иисуса.

"Это были могучие формовщики умов, энергичные будители душ, спасительные организаторы обществ. Жившие только для своих идей, всегда готовые на всякое испытание и знавшие, что умереть за Истину есть величайший и наиболее действенный из подвигов, они создали науки и религии, литературу и искусство, и их живая сила до сих пор питает и живет нас. И если поставить наряду с такой могучей действительностью стремления позитивизма и скептицизма нашего времени, что могут они принести человечеству? Создать сухое поколение без идеала, без высшего света и без веры, не признающее ни души, ни Бога, ни вечности, не верящее в будущность человечества, без энергии и без воли, сомневающееся в самом себе и в свободе человеческой души..."

Эдуард Шюре

Объем книги — прибл. 320 стр. Цена — \$22.50

В Антологию войдут также произведения Штайнера, Фламариона, Рамачараки, Безант, Блаватской и др.

Предварительные заказы на книгу "Великие Посвященные" просьба посылать по адресу:

"SOURCE" L.BROOKS 34 East Av., Middletown, N.Y. 10940

Дася Шаляпина-Шувалова

МОЙ ОТЕЦ — ШАЛЯПИН

СВЯЩЕННЫЕ КРЫСЫ

В Японии я была два раза. Первый раз мы выехали из Марселя и после остановки в Кобе наш пароход зашел на полдня в Шанхай. Все, конечно, уже знали, что на пароходе Шаляпин, и местная русская колония устроила ему грандиозную встречу. Как известно, в Шанхае пароходы не подходят к самой пристани, и мы остановились метрах в пятистах от нее. И вот мы увидели на берегу огромное панно: Ш А Л Я П И Н. Оно состояло из отдельных букв, и каждую букву держал человек. Мы не высаживались, но к нам на пароход на многочисленных лодках направились всевозможные делегации с приветственными криками "Шаляпин! Шаляпин!". Когда вся эта армада поднялась на пароход, началось что-то неопишное. Мужчины и женщины наперебой целовали нам руки, вздыхали, охали и ахали от восторга, захлебывались от волнения, не могли связно говорить. Такого, кажется, я не видела за всю мою жизнь!

Контракты в Японию и в Китай были подписаны в Австрии, в очаровательном горном местечке возле Инсбрука. Там и появился этот Строк, отцовский импрессарио на весь Дальний Восток. Надо сказать, что к этому времени отец чувствовал себя уже очень неважно, и ехать куда-то за тридевять земель в Азию ему не хотелось. Но с деньгами было плоховато, и ехать пришлось. Отец очень хотел, чтобы на этот раз — ведь путешествие рассчитано почти на полгода — я поехала тоже, хотя путешествие мне не очень улыбалось: я уже была в третьем классе лица, и в Париже у меня оставалось много друзей и подруг. Но родители уговорили — представлялся великолепный случай увидеть Японию и Китай, и надо было им воспользоваться. Так мы и уехали. Поездка длилась тридцать один день и оказалась замечательной. Хотя в Китае уже находился импрессарио отца на Дальнем Востоке Строк, с нами увязался плыть и Кошук, не хотевший оставлять отца один на один со своим конкурентом. Вот только несчастный Михаил Эммануилович совершенно не выносил морской качки, а качало нас буквально в продолжение всего путешествия, особенно первые пятнадцать дней в Индийском океане. Качало днем и ночью. И все это время бедный Кошук лежал на палубе, как труп. Вообразите короткое туловище, огромный живот и совершенно лысый череп, и вы получите Кошука в морском путешествии. Сначала его сторонились, но в конце концов привыкли и шагали через него, как через рыхлую колоду, к тому же он никого и ничего не замечал.

Назывался наш пароход "Хаконе-Мару". Он был очень удобным, не то, что те каботажные суда, на койках которых отец не помещался. В нашем распоряжении здесь была просторная каюта, с большой, по его росту, кроватью. На пароходе оказалось много молодых голландцев, и мы с ними весело играли в шахматы. Большинство из них были банковскими служащими и биржевыми маклерами, и все они по каким-то делам направлялись в Сингапур. Был среди них один очень молодой и очень милый, но столь же скучный человек по фамилии Родемакер. Помню его всегда с плиткой шоколада в

руках. Мне кажется, что он был немножко равнодушен ко мне. Из его слов я поняла, что он был уже настоящим банкиром, командированным его банком на нечто вроде стажировки. Родемакер отлично играл в шахматы, и они стали нашим любимым пароходным времяпрепровождением. Все было бы хорошо, если бы к нам не присоединился отец, требуя, чтобы играли и с ним. Но я уже сказала, что играл он очень плохо и всегда проигрывал. Проигрывать же он не любил, и опять получались истории: даже мне и даже в шахматы проигрывать он не хотел.

Помню еще двух англичанок, довольно молоденьких, которые тоже плыли с нами на пароходе. Они очень хорошо знали, кто такой мой отец, "упали" на знаменитость и завели с ним отчаянный флирт. Думаю, что отца флирт не только забавлял, но и откровенно ему нравился. Однако мать, которая была так же ревнива, как и он, сентиментальное развлечение отца переносила с трудом и, когда не могла уже сдерживаться, отчаянно ругалась. Мне же все это казалось до отвращения противным — хоть караул кричи! В таком вот "амбьянсе" мы и доплыли до Кобе, с остановкой в Шанхае, где отцу была устроена торжественная встреча, о которой я уже рассказала. Кстати, среди встречавших оказался тогда и Вергинский. Японцы считали отца чем-то вроде божества, каким-то северным богом, вдруг появившимся на их желтом острове. Они называли его "Намбер уан бой". Главное же — что он был высокий и без волос на теле. При всяком удобном случае они носили его на руках: от порта до отеля, от отеля до поезда и т.д. В этом волосатому Карузо не повезло бы. Голос, конечно, был замечательный, но вот волосы — на руках, на ногах, на груди... Впрочем, я не знаю — был ли Карузо в Японии или нет.

В Кобе мы пробыли всего несколько дней, на два-три концерта, и поехали в Осаку. Там прожили недели три и поездом отправились в Токио. Это была живописнейшая из поездок. Поезд наш оказался дачным, плелся, как черепаха, и вдобавок останавливался на каждом полустанке. Оборудован же он был на американский манер: вагоны широкие и большие, с открытой платформой сзади, так что можно было стоять и приветствовать оставшихся. Шел он чуть ли не четыре часа, причем на каждой остановке появлялась толпа японцев и по-японски пела "Эй, ухнем!", сопровождая пение трюмными, фанфарами и барабанным боем. "Эй, ухнем!" на японский лад было что-то невероятное и исключительно колоритное. Отец должен был ко всем выходить, всем улыбаться, всех приветствовать. И так продолжалось все четыре часа, пока, наконец, не приехали в Токио. Там повторилась такая же церемония, но на этот раз "Эй, ухнем!" пели какие-то девицы, размахивая японскими флажками фирмы "Граммофон". Потом какие-то люди, тоже с флажками, подхватили отца и понесли его в отель. Не знаю, понравился ли ему такой способ передвижения, но нас, его "свиту", только чудом не затоптали и не сбросили на рельсы под поезд, ведь "свита"-то состояла из одних женщин, а женщины в Японии людьми не считаются. В Токио мы поселились в отеле "Империаль", который строился

каким-то знаменитым архитектором, так, чтобы он мог выдерживать землетрясения.

Отель был действительно прекрасным, со светлыми просторными комнатами и даже с небольшим японским садиком внутри и считался лучшим в городе. И все было бы хорошо, если бы он не был полон крыс, огромных серых жирных крыс. Крысы производили впечатление ручных, во всяком случае, почти не стеснялись людей и разгуливали по отелю, как по своему крысиному царству. Вначале мы от них запирались, но в конце концов они о нас пронюхали. Случилось же это так. Отец не любил ни ресторанов, ни кафе и всегда, если была возможность, предпочитал домашний стол, особенно же куриный бульон и курицу. Так как в наших комнатах не было ни кухни, ни, конечно, холодильника, то курицу мы ставили на окно. И вот с этого-то куриного окна все и началось. Крысы открыли наше присутствие, и с этого момента их уже нельзя было выжить никаким способом. Они появлялись ночью, разгуливали по комнате, лазили по столам и по кроватям. Спасаясь от них, я легла на полу на матрасе, решив, что на кровати, которая стояла возле окна, я не смогу так хорошо видеть крыс и мне будет трудно от них защищаться. И вот я выследила, что крысы проникают через отверстие в потолке, где проходила труба отопления.

На следующий день я позвала отельного мальчишку, показала ему на дыру в потолке и попросила чем-нибудь ее зашпаклевать. Мальчишка что-то залопотал, заулыбался, потом взял газету и стал ею затыкать дыру. Я ему говорю, что нельзя же от крыс отгораживаться газетой! Они и дубовые доски перегрызают. Он опять заулыбался и принялся объяснять, что в Японии прогонять крыс не полагается, что это очень нехорошо, что крысы священные животные и им нельзя причинять вреда, и тем более убивать. Я была немного ошарашена, ответила, что крысы могут укусить и заразить, т.е. питаются всякой падалью. Мальчишка выслушал, покачал головой и спокойно заметил, что в Европе это может быть и так, но в Японии крысы чистые и хорошие, потому что их кормят хорошей и чистой едой. Словом, мальчишку я не уговорила, и каждый остался при своем мнении, а спать даже среди чистых крыс было неуютно. К тому же продолжалось и воровство: поставишь курицу на окно, за чем-то выйдешь — и курицы нет как нет! Я снова позвала мальчишку, снова нажаловалась на крыс, и он снова отказался их преследовать и для большей убедительности рассказал мне, как однажды он попытался убить бежавшую по коридору большую крысу, схватил метелку, размахнулся и... сзади угодил в какого-то важного американца. Крыса, конечно, не пострадала, но получился такой большой скандал, что он чуть не лишился места.

Жаловались на крыс не только мы. Жившая в соседнем номере дочь норвежского консула купила на день рождения своей матери какой-то невероятно дорогой торт. Оставила этот торт на кухне и пошла накрывать стол. Когда же вернулась за тортом, его с трех сторон объедали три великолепные крысы!

Проживала в Токио знаменитая в то время певица по фамилии Масне, русская по происхождению. Она была женой сына известного композитора. В то время ей было лет шестьдесят. Она создала роль Таис, и я звала ее "мадам Таис". На сцене же, в роли Таис, она очаровательно раздевалась. Наверное, с раздевания и пошла ее слава. Я очень быстро с ней подружилась, и она начала учить меня японским танцам.

В Японии же произошел довольно колоритный казус с отцом. В один прекрасный день он решил пойти в бордель, как я думаю, не для бордельных дел, а просто так, из любопытства.

Ему непременно захотелось посмотреть, как это там у них, у японцев, устроено: как принимают клиентов, какие девочки... словом, приобщиться к тайнам японской экзотики в этой области человеческих отношений. И инцидент прошел бы совершенно незамеченным, если бы отец не позабыл одной существенной детали: будучи знаменитостью, он шага не мог ступить без "ангела-хранителя" — журналиста и, по всей вероятности, полицейского, буквально всюду и везде ходившего за ним по пятам: в рестораны, в кафе, в кино, в официальные места, в частные дома, а в бордель уж тем более. Не успел отец переступить порога "храма наслаждений", как уже был сфотографирован. Подумайте только — какая сенсация: "Шарьпин, входящий в бордель!", "Намбер уан бой в японском борделе!" К несчастью для фотографа — по всей вероятности, он был не очень опытен в этом ремесле — отец заметил операцию, набросился на журналиста, вырвал из его рук фотоаппарат, ахнул его о тротуар и уже собирался учинить расправу над проштрафившимся "ангелом" и, наверное, поломал бы ему кости, если бы подоспевшие люди и, конечно, несменяемый Кошук, не остановили бы "избиение младенца". Впрочем, как мне потом рассказывали, отец быстро остыл, сам не хотел устраивать скандала, тем более, что Японию и японцев очень полюбил.

КИТАЙСКИЕ АКВАРЕЛИ

Из Японии в конце февраля 1936 года мы отправились в Китай, в сопровождении обычной отцовской свиты. Был, конечно, Кошук, камердинер Михаил Шестокрылов-Коваленко и молодой — ему было лет 26-27 — аккомпаниатор отца Жорж Годзинский. Рейс предстоял небольшой — чуть больше двух дней, но попался нам какой-то уж очень маленький японский пароходик, именованный "НагасакиМару", с такими же миниатюрными каютками, что сразу испортило настроение отцу: он, бедный, не мог поместиться ни на одну койку. Ему пришлось стаскивать на пол матрац, примащивать к нему подушки, чтобы хоть как-нибудь вытянуть ноги.

Итак, ночью ему приходилось спать на полу, а днем срывать свое раздражение на членах "свиты" — кто первый попадался ему под руку, на того и обрушивался его "державный гнев". Словом, днем и ночью он был в отвратительном настроении. И вот, в это самое время у меня случился насморк. Насморк — дело пустячное, и я никогда о нем бы не вспомнила, если бы он не раскрывал еще какие-то черточки отцовского характера и отношения отца ко мне.

Дело происходило за ужином. За столом сидела вся наша компания. Я кончила есть раньше всех, встала и хотела идти в свою каюту, когда отцу вдруг захотелось меня поцеловать на ночь. Зная, что ему надо через несколько дней выступать и что насморка он боится, как огня, я не пошла на его зов и сказала: "Не надо, не надо. У меня насморк, и ты можешь заразиться." Но отец почему-то решил — он был полон такими фантазиями — что я его не люблю, не хочу, чтобы он меня целовал, не хочу вообще к нему подходить, сделался чернее тучи и принялся всех нас ругать, словно мы были в чем-то виноваты, были причиной его плохого настроения, того, что он на всех нас работает, а все мы бездельники, и не хотим пальцем о палец ударить, с ним не разговариваем, ну и все в этом же духе. Наверное, слишком много виски выпил, что из-за диабета, как все спиртное, было ему строжайше запрещено. В конце концов он поднялся, пошел на палубу и заявил, что в "дурацкую

каюту” не вернется и будет спать наверху под открытым небом, там, по крайней мере, никто не будет ему перечить и можно будет спокойно вытянуть ноги. Вышел настоящий скандал. И все из-за того, что я его пожалела, испугалась, что он может от меня заразиться насморком. Так мы и доплыли до Шанхая.

Китай совсем не был похож на Японию. Когда мы туда приехали, революционное разложение шло уже вовсю. Это коснулось, и сильно, и многочисленной в то время тамошней русской колонии. Ничего подобного нам не приходилось видеть ни в Европе, ни в Америке, ни в Австралии. В Японии русских было мало, но они держали себя, как и все остальные, с большим достоинством. Я бы очень хотела думать, что это не так, но из того, что мне приходилось видеть и наблюдать, у меня создалось впечатление, что все девочки с четырнадцати лет уж были проститутками, и это было ужасно. В Шанхае, например, в отеле, где мы поселились, внизу был шикарный бар, и подавали там девицы пятнадцати-шестнадцати лет. Они подавали внизу, а потом шли наверх, где в специально для этого отведенных комнатах принимали ”клиентов”. Я познакомилась с одной из таких девиц. Было ей лет пятнадцать, и мы с ней даже подружились. В ее свободное время я приходила к ней наверх в ее комнатку, где мы подолгу разговаривали. Вытирая слезы и всхлипывая, она рассказала мне всю свою невеселую историю. Она жила в Шанхае одна. Мать умерла, отец остался в Харбине, без средств, без работы, совершенно больной. Ну вот и пришлось... Не для себя, а для отца. Ее рассказ навалился на меня, как обвал, ведь мы были почти одноклассницы, она могла бы жить, как я, как оставшиеся в Париже мои лицейские подруги. А она... Я взбунтовалась и настойчиво требовала, чтобы родители что-нибудь для нее сделали, как-то ее спасли. Но что можно было сделать? Что я могла? Только понять, что жизнь совсем не розовая вода.

В Шанхае мы прожили довольно долго потому, что после выступлений в этом городе отец отправился с концертным турне в Харбин, в Пекин, в Тяньцзинь и другие китайские города, нам же посоветовали его не сопровождать. События в Китае разворачивались все страшнее и страшнее, да и сами русские, пребывавшие в бывшей ”Небесной империи”, были не очень надежны, в силу мудрейшей из пословиц: ”С кем поведешься, от того и наберешься”. Да и меня могли преспокойно похитить, а потом требовать выкуп. В Китае этот способ побочных заработков в сравнении с тем, что в этой области делается в Европе и в Америке, значительно более усовершенствован. Похитители требуют огромный выкуп, в большинстве случаев совершенно несоизмеримый с возможностями пострадавших, и ”счет”, таким образом, остается непоплатенным. Тогда посылается второй, но уже с приложением отрезанного пальца. Если и это не действует, тогда посылается третий, с другим пальцем и так далее. Когда же пальцев больше не остается, прибавляется ухо или нос, и несчастной семье приходится залезать в долги, и во что бы то ни стало доставать просимую сумму, чтобы в следующий раз не получить уже голову!

В Шанхае же я попала на концерт Вертинского, который, узнав, что мы там, прислал нам с Мамулей два билета. Мы сидели в первом ряду, и я могла хорошо его рассмотреть. Какое он произвел на меня впечатление? Откровенно скажу — отрицательное. Его нарочито трагическая маска, нарочито трагически набеленное лицо, трагически-сентиментальная манера петь, трагически-сентиментальное болезненно-нездоровое содержание его песенок — все это было мне и непонятно, и чуж-

до. Ведь мне только что исполнилось пятнадцать лет, жизнь я воспринимала без ”белил и румян”, и глядя на кривляющегося Вертинского, я еле сдерживала хохот, хотя выражением лица старалась показать, что я переживаю его ”фиолетовые трагедии” и вот-вот заплачу. Но под конец я все-таки расхохоталась. Публика никак не хотела его отпускать, и его несколько раз вызывали на сцену, и каждый раз опускался и поднимался занавес. И вот, он как-то неловко повернулся, так что огромный пыльный занавес упал ему на голову, и он, перед этим только что жеманно улыбающийся, вдруг исчез в облаке пыли. И здесь меня прорвало.

Еще помню, что Шанхай произвел на меня впечатление настоящего русского города — ведь Россию-то я помнить не могла. Там была масса русских, на концертах отца почти три четверти зала — были русские, остальные места занимали другие иностранцы. Китайцы, как правило, иностранными концертами интересовались очень мало.

Так мы прожили около месяца и поехали встречать отца в Тяньцзинь. Поезд шел туда пять дней. Вагоны были большие и хорошие, и в них даже разносили чай, варенье и печенье. Но, как я уже упомянула, Китай находился в революционном брожении и путешествия были довольно опасными, и поэтому в вагонах было много солдат, которым поручалось охранять поезд. Многие из них довольно прилично говорили по-русски, как почти все обитатели Северного Китая, тогда как в Южном Китае говорят по-английски. Солдаты были в грязных синих шинелях и все обвешаны винтовками и патронами — соседство из малоприятных. Ведь дрались между собою различные провинции, и мы легко могли попасть в такую, где наши охранители оказались бы как раз теми, с кем воюет провинция, и тогда всем бы пришел конец. Из разговоров мы узнали, что на поезда часто нападают банды разбойников, отбирают все, что могут, и тоже отрезают пальцы, уши и носы. Становилось не на шутку страшно, но ехать было надо, и мы ехали. С нами в купе оказался симпатичный англичанин, кажется, протестантский пастор, возвращавшийся из Сиам в Англию. Все его десять пальцев были отрезаны, и из рукавов торчали неуклюжие култышки. В вагоне-ресторане он рассказал нам свои приключения. В Сиаме он возглавлял религиозную миссию, и поэтому ключи от кассы и от продуктовых и других складов находились у него. Вот он и заплатил за них — за деньги и за склады — пальцами своих рук... А мать по наивности (или по неопытности?) говорила мне: ”А может быть, он и сам бандит? Может быть, отрезанные пальцы лишь китайский способ сведения личных счетов?” Может быть. Только я этого не думала: не похож он был на бандита, ни по его виду, ни по его глазам.

Тяжелее всего были остановки. Станции были полны голодными людьми, они ходили настоящими стадами, осаждали вагоны, выпрашивали объедки. Было стыдно на них смотреть, еще стыднее перед ними есть. Вот так мы и ехали. Наконец, добрались до Пекина. Поезд в Тяньцзинь шел через два дня. Мамуля, чтобы отвлечься от воспоминаний о неприятной поездке, решила пойти в кино. Но я решила иначе: в кои-то веки в Пекине — значит, надо было пользоваться Пекином. Императорский дворец, Площадь небесного мира, храмы, гробницы, сады! Кино же есть и в Париже.

Я вышла из отеля, сделала несколько шагов по нашей улице, куда-то повернула и оказалась на кишевшей народом большой площади. Оказалось, все ожидали казни каких-то бандитов! Меня окружили, начали объяснять и звать: ”Хотите посмотреть? Вот сюда, здесь будет виднее. Казнь, это очень

интересно. В Европе вы, наверное, никогда не видели. За мной, сюда, сюда.” Настоящее ”приглашение на казнь”! Нет, спасибо, ни за что не хочу. А они продолжают уговаривать: ”Ведь это же очень интересно. Вам непременно надо посмотреть, пользуетесь случаем.” Я еле отбилась. Потом мне рассказали, как это у них происходит. Очень просто и, главное, без формальностей и церемоний: волокут приговоренного, кладут голову на что-то вроде пня и рубят. Вот и все. Не правда ли — очень интересно! Тут я согласилась с мамулей — уж лучше дрянное кино, чем прогулки по Пекину.

Наконец, мы дождались поезда в Тяньцзинь, где уже находился отец, и остались там почти на месяц. Тяньцзинь — это совершенно особенный город, непохожий даже на остальные китайские города. Он находится на краю пустыни Гоби в сплошных песках. По-настоящему, город, построенный на песке! Покойников хоронят сразу же за городом, попросту зарывая их в песок, только непонятно почему — не очень глубоко, насыпая сверху небольшой бугорок. Сколько бугорков — столько и покойников, целые поля покойников, издали напоминающие морские волны, только желтовато-серого цвета. Если покойник побогаче, на могиле садят деревцо, по возрасту которого можно узнать и возраст покойника — сколько времени он уже лежит в земле.

В Тяньцзине отец нанимал для меня лошадь, и я ездила кататься за город, прыгать через могильные бугорки — это почему-то очень забавляло мою лошадь, и все было бы превосходно, если бы не удушающий трупный запах. Он шел отовсюду — пробивался через песок, набрасывался на вас с порывом ветра, вырывался из разрытых собаками могил. Не знаю — почему китайцы не истребляли голодных собак? Быть может, они относились к ним, как японцы к крысам? Хотя китайцы едят собак, какую-то из собачьих пород. Конечно, в самом городе трупами не воняло, но когда начинал дуть жаркий ветер с песчаного кладбища, запах был такой, словно находишься в поле, на котором происходило побоище. Так отовсюду несло дохлятиной!

Концерты отца в Тяньцзине происходили с большим успехом, и театр был всегда переполнен. Но опять же, публика состояла почти сплошь из иностранцев — французов, англичан, немцев, итальянцев и, конечно, русских. Китайцев отец не интересовал, как, впрочем, и другие иностранные артисты. Через месяц мы вернулись обратно в Шанхай, заехав дорогой на несколько концертов в Пекин. В Шанхае на этот раз оказалось намного хуже. Особенно по части русской колонии. Чуть ли не ежедневно к нам приходили делегации каких-то благотворительных обществ и просили отца спеть для них концерт. Но отношение Шалапина к даровому пению достаточно известно: ”Даром только птицы поют!” — чтобы понять, что ничего хорошего из этих просьб выйти не могло, к тому же отец начинал чувствовать себя неважно и очень берег свои силы. Здесь хочу прибавить одну деталь, о которой почти никто не знает. Считая, что он все же обязан как-то помогать своим соотечественникам, отец отчислял какой-то процент со своих гонораров во Францию и передавал их В.А. Маклакову, который в то время возглавлял русский эмигрантский офис в Париже.

Но в Шанхае он ни о чем не хотел слышать, и происходили настоящие скандалы, а под конец, когда оставалось пропеть последний концерт, мы узнали, что недовольные ”контестаторы” решили концерт сорвать, а Шалапина забросать тухлыми яйцами и гнилыми томатами. Во что бы то ни стало нужно было сделать так, чтобы отец концерта не пел. Но как?

Кто сможет его уговорить? Кого он послушает? Единственным человеком, кое-как могущим рассчитывать на успех предприятия, была я. Мне объяснили, как я должна поступать, и я приступила к действию.

При отце, особенно во время его заграничных турне, всегда находился его личный врач по горловым болезням, который сразу же был посвящен в наш заговор. Я же стала приходить к отцу по утрам и с первых же слов выпаливала самым серьезным образом: ”Боже мой! Какой у тебя сегодня ужасный вид! Не болит ли горло? А ну-ка открой-ка рот, дай посмотрю”. Отец открывал рот, а я, делая вид, что осматриваю горло, неизменно заявляла: ”Действительно розовое, красноватое какое-то”. Отец, конечно, звал доктора, показывал ему горло и выслушивал от него тот же диагноз: ”Действительно, красноватое, вам надо беречься.” И, в конце концов, — система Куэ? — мы его убедили, что у него болит горло и самое лучшее концерт на несколько дней отложить. Тем временем мамуля достала билеты и места на пароход и, уж не знаю, как она ухитрилась убедить отца вернуться в Японию и закончить там напевать пластинки, а концерта в Шанхае не давать.

Из Шанхая мы попросту удрали. Удрали самым позорным образом, потихоньку, так, чтобы нас никто не заметил, погрузившись на пароход в шесть часов утра, и дрожали до тех пор, пока он не стал медленно отходить. Ведь заговор был двойной — и против ”контестаторов”, и против отца: ни они, ни он ничего не должны были знать! Больше всех переживал бегство Кошук — он поднимал руки кверху и неистово крестился. Подумайте только, что было бы, если бы во время концерта в отца полетели тухлые яйца?! Он разнес бы весь театр, в бешенстве мог покалечить людей.

Это был 1936 год. 12 апреля мы справляли Пасху. Все вместе были в шанхайском православном соборе. Это была наша последняя Пасха с отцом, ровно за год до его кончины — 12 апреля 1937 года в Париже, в нашем доме на авеню д’Эйло.

ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА

Это было в 1930 году. Мы — отец, мать, Марина и я — жили в Буэнос-Айресе в каком-то уж очень шикарном отеле, называвшемся не то ”Колонна”, не то ”Де ла Плата”. Отец взял нас с собой, чтобы не скучать, так как он должен был петь в разных странах Латинской Америки, и турне получалось очень долгим. Как раз под нами жила гремевшая тогда на весь мир знаменитая Архентина, которую всерьез называли ”Павловой с кастаньетами”. Ей приходилось все время репетировать и нестерпимо трещать своими трещотками, чуть ли даже не по ночам. Отец терпел, терпел, но наконец не выдержал, вызвал к себе директора отеля и велел ему передать, чтобы ”там прекратили безобразный треск!” Между прочим, он даже не знал, кто это так трещал. Архентина же, узнав, что Шалапин протестует, тоже рассвирепела, но сделать ничего не могла: ”Жаль, что он тоже не репетирует, я бы ему такой скандал закатила!” Словом, поссорились, но чем это закончилось, не помню.

Отец, действительно, репетировал очень редко. Обычно только перед самым концертом. Он садился за рояль, играл гаммы и вполголоса подпевал, и почти всегда ворчал, уверяя, что голос не звучит, что начинается насморк и как будто болит голова и что вообще все будет ужасно, концерт провалится и

так далее, и так далее. Большинство людей почему-то уверено, что у больших и опытных артистов никогда не бывает страха. Это совершенно неверно, а судя по моему отцу, даже как раз наоборот: отец всегда боялся выступлений, и перед выходом на сцену у него бывал настоящий "трек".

В отеле мы прожили недели две и переехали на квартиру на какой-то там 1990-й авениде. Квартира оказалась с крысами и тараканами, но протестовать было бесполезно — весь Буэнос-Айрес был таким. Таковы уж были эти аргентинские кукарачи. Откроешь дверь на кухню — и тараканы, как огромные жирные муравьи, с шорохом разбегаются во все стороны. Но это еще полбеды, хуже, что они залезали в кровать, и это было совсем неуютно. К тому же в полутьме их можно было принять за коричневые конфеты, что нам, дочерям, давали от кашля. И вот раз чуть не случилась катастрофа: я увидела у Марины на подушке таракана и решила, что это конфета. Слава Богу, что не сунула в рот! Зато крысы оказались очень симпатичными, и я даже ухитрилась с ними играть. Премилые были крысы! На квартире нам пришлось обзавестись собственной прислугой, и мы наши прелестную девушку, тихую, честную, услужливую. Ей было лет семнадцать, она была простой крестьянкой и очень хороша собой. Увидев ее, отец сразу же заявил: "Возьмем ее себе в дочери." Так она у нас и жила: и прислугой, и дочерью. Хотели взять ее с собой во Францию, но почему-то не взяли. Может быть, она сама не захотела, может быть, не захотела мамуля.

Так мы прожили месяца полтора. Со мной была наша Могуша — та, что перешла к нам от Зилотти — но я все же первое время очень скучала: ни друзей, ни подружек у меня так и не находилось. Марине уже шел двадцатый год, мне же не было и десяти, общих интересов никаких, а она вдобавок любила меня дразнить. Бывало, позовет меня и скажет: "А знаешь, может быть, я совсем и не Марина, я только притворяюсь Мариной, а на самом деле я ведьма, ве-е-дьма." И я начинала верить, что она действительно не Марина, а ведьма. В конце концов она меня так запугала, что когда однажды пришла ко мне вечером попрощаться мамуля, я ей выпалила: "Ты знаешь, ты вовсе не моя мать, ты — ведьма!" Мамуля опешила: "Праведный Боже! Что с тобой случилось?" Ведь она ничего не знала о марининых "шуточках". А я ей свое да свое: "Я знаю, ты ведьма, ведьма!.." Наверное, у меня случилось что-то вроде нервного расстройства.

В Буэнос-Айресе был большой зоологический сад, и чтобы как-нибудь меня развлечь, Могуша водила меня туда гулять и там, среди зверей, мы проводили иногда все послеобеденные часы. Она очень любила животных, и ее любовь передалась мне. И теперь мой дом — настоящий зоологический сад!

Теперь для полной картины нашего буэнос-айресского фольклора с крысами и тараканами расскажу про "наоборот". Вот что это такое. Менеджером отца, то есть его импрессарио в Южной Америке, был некий итальянец Марчези. Впрочем, может быть, он был просто секретарем отца, как человек, хорошо знавший тамошние языки — испанский и португальский — точно уже не помню. Ставили "Севильского цирюльника", и отец, конечно, пел Дона Базильо, а Альмавирос — знаменитый Тито Скипа, маленький итальянец с изумительным голосом. Дона Бартоле пел Бакалоне, тоже хороший певец, но не такой известный, как Тито Скипа. Подбор артистов, вообще, оказался на редкость удачным и спектакли проходили с большим успехом. Но что гораздо реже и приятней — это хорошие товарищеские отношения, создавшиеся между самими ар-

тистами. И вот в этой дружеской обстановке почему-то вдруг исчез Марчези, словно сквозь землю провалился. Среди артистов сразу же возникла забавная шутка: встречаясь, они приветствовали друг друга словами: "Дове Марчези?" — "Где Марчези?". И "Дове Марчези" стало для них настоящим паролем. На спектаклях, на репетициях, при встречах на улице — неизменный "Дове Марчези?"!

Марчези появился так же внезапно, как и исчез. Отец с удивлением расспрашивал: "Где его нашли? Под столом?" "Нет". "За шкафом?" "Нет". "Из-под матраса, что ли, вылез?" "Да нет же!" Так и не выяснили — откуда же появился Марчези.

Потом придумали новую забаву: проигрывали записанные на репетициях пластинки "наоборот" — с конца к началу — и соответственно старались петь все слова тоже наоборот. Например, "здравствуйте" отец пел "етйувтсвардз"! "Наоборот" пели даже целые арии. Как они ухитрились запомнить — не знаю, знаю только, что иногда так "наоборот", "кверху ногами" проходили целые репетиции. Проходили в атмосфере общего веселья и энтузиазма. К несчастью, когда пришло время генеральной репетиции, все продолжали петь "наоборот" и все путать. Хуже всего пришлось Тито Скипа — он никак не мог приспособиться к нормальному пению и был в полном отчаянии. Понадобились дополнительные репетиции, чтобы все поставить на место и вернуть словам их привычный облик. На спектакле я не была, но знаю из рассказов, что он удался на славу. Восторгам и овациям не было конца. Но саму оперу помню до сих пор и, мне кажется, что могла бы ею продиржировать как угодно — и "вперед", и "назад".

ВРАСПЛОХ

У Андрея Синявского есть книга — "Мысли враспloch": что придет в голову. Пусть и эта глава называется "В р а с п л о х" — что вспомнится. Я уже предупреждала, что не умею вспоминать по порядку, непременно что-нибудь забуду. Вот и теперь, просмотрев написанное, увидела, что многое позабыла, многое, относящееся к разным периодам жизни, к разным городам и даже странам. Расскажу враспloch, что припомнилось.

Возвращаясь как-то из Соединенных Штатов во Францию без нас, отец заболел на пароходе, наверное, тогдашним гриппом, испанкой. Рассказывая о болезни, он уверял нас, что все у него безумно болело, ломило все кости, и он совершенно не мог двигаться. Когда пароход пришел в Шербур, то ему было так плохо, что вызвали санитарный автомобиль, куда его и погрузили с великими предосторожностями. Федор, сопровождавший его в автомобиле, говорил, что его тело было настолько чувствительно, что нельзя было накрыть даже простыней. Так он и лежал полутрупом возле окна и, казалось, ему было даже больно смотреть. И вот, он вдруг увидел большое панно с надписью: "Здесь продается земля". Он мгновенно ожил и, повернувшись к Федору, совершенно твердым голосом спросил: "А как ты думаешь, сколько здесь может стоять земля?" Федор совершенно опешил и потом говорил, что, наверное, случилось чудо, потому что в этот момент отец выздоровел, что, кстати, очень вероятно, так как земля была его настоящей страстью: везде и всюду его тянуло к земле, ему непременно хотелось иметь побольше земли, покупать землю, садиться на землю. Единственно, во что он по-настоящему, по-мужички верил — была земля. Он был очень земным человеком и, приобретая землю, как бы считал, что этим укрепляет свою человеческую связь с землей.

Так они и доехали до американского госпиталя в Нейи (в окрестностях Парижа). Там его уложили в отдельную палату, открыли двери и окна и буквально вылечили его сквозняками. Через несколько дней он бодрым и здоровым вернулся домой.

А теперь о том, как отец мне бородавку снял. Произошло это на пароходе, только уже не помню, по пути куда и откуда. Операция же была в полном смысле слова чудодейственная, особенно если знать, что все старания официальной медицины оставались тщетными: ее и скоблили, и выжигали, и чего-чего только с ней не делали, но одолеть ее так и не смогли. Отец попросил достать ему льняную нитку, — "Неприменно льняную", — подчеркнул он, потому что другие нитки силы не имеют. Когда нитку достали, он сделал из нее петлю, окружил ею бородавку (она была на пальце), и, затягивая петлю, стал что-то нашептывать, но что? — никогда никому не захотел сказать. Подержал несколько минут нитку вокруг бородавки и закопал ее в землю горшка от пальмы. Мне же наказал про бородавку позабыть и о ней не думать, и тогда она через неделю непременно сойдет. И она, действительно, через неделю сошла!

В связи с нашим пребыванием в Японии вспоминается мне несколько анекдотов. Так, в Токио мы познакомились с шурином императрицы, принцем Каное. Каное — одна из стариннейших аристократических фамилий Японии. Это было за несколько месяцев до японского нападения на Китай. Наш принц считал себя ярким антимилитаристом, противником не только войн, но и всякого насилия. Его возмущали все, кто всерьез говорил о японском милитаризме. "Японский милитаризм!" Да такого никогда не было и никогда не будет!" — с апломбом утверждал он. Нас предупреждали, что он был в связи то ли с русской, то ли с немецкой контрразведкой, тоже работавшими для предупреждения конфликта.

Затем мы как-то попали на обед к маркизу Токагава, брату императрицы. На обеде присутствовало еще какое-то очень высокопоставленное лицо с княжеским титулом, но его фамилию я уже забыла. Он сидел около меня и вдруг, с широкой очаровательной улыбкой заявил: "А знаете, вы изумительно похожи на мою дочь." "Неужели я узкоглазая японка?", — смутившись, подумала я. А он, не переставая улыбаться, продолжил: "Между прочим, она на днях умерла. Даже точнее, третьего дня" и засмеялся во весь рот... По всей вероятности, в Японии так развлекают молодых девушек и так относятся к покойникам!

Главное же, все японцы непременно дарили нам куклы, и больше всех — отцу. Под конец их некуда было девать, хоть караул кричи! А куклы, как на подбор, все в великолепных коробках, с зеркальными стенками, в замечательных платьях. Такой уж у них обычай. Отказаться нельзя и выбросить тоже нельзя, все равно принесут, да еще обидятся. В Японии вообще невозможно что-либо потерять, удивительно честный народ, непременно найдут и пришлют. Уж не помню, что именно, уезжая, я оставила в отеле. Наверное, какую-нибудь мне надоевшую дрянь. Так нет: догнали и принесли! Я опять потихоньку выбросила сверток, и опять подобрали и принесли. Наконец, перед тем, как сесть в поезд, я забросила пакет за скамейку — там небось не увидят! Увидели! Поезд тронулся, а они бегут за ним и стараются забросить сверток в окно вагона. И-таки забросили!

В Лос-Анджелесе отцу взбрело вдруг на ум научиться играть в гольф. Надо сказать, что компания для гольфа создавалась более чем подходящая: Дуглас Фербэнкс старший и Чарли Чаплин, почему-то тоже находившиеся в этом городе и жившие неподалеку от нас. Решено — сделано. Отец приобрел

все полагающееся для этого спорта обмундирование — штаны, каскетку, какой-то причудливый свитер и так далее и, в один прекрасный день, пошел с ними играть. Представьте себе подбор или, как говорят англичане, "селекшн": Дуглас Фербэнкс, Чарли Чаплин и Шалапин! Жаль, что никому в то время не пришло в голову их снять! Они, конечно, знали, что отец в гольф играть не умеет, но виду не подавали и играли с ним самым наисерьезнейшим образом. И вот — невероятно, но факт — чуть ли не с самого первого раза отец ударил по мячу, и мяч попал... в нужную лунку. Успех так его окрылил, что во второй раз он ударил так, что взвившийся мяч уже найти никто не смог. Наверное, и по сию пору он кружится в пространстве с лунниками и спутниками! Потом, само собой разумеется, ничего уже не получалось, ни в тот раз, ни в следующие. Главное же — его фантазия: хочу стать чемпионом, и сразу же! Такой уж был у него характер.

А это уже со слов мамы. Время действия — конец двадцатых годов, место действия — Бухарест, где отец должен был петь несколько концертов. Как-то они обедали в одном очень шикарном и очень фольклорном ресторане: персональные столики, скрипки, цыгане и подкрашенные румыны. Словом, очень милый и очень румынский "амбьянс". Недалеко от столика родителей сидел интересный, эlegantный и, конечно, подкрашенный офицер. И вот произошло... Мамуля, желая подшутить над отцом (по ее словам), наклонилась и шепнула ему на ухо, что ей кажется, что красивый офицер слишком пристально на нее смотрит. Этого оказалось достаточно, чтобы отец вскочил, подбежал к офицеру и предложил ему выйти для объяснений на улицу. Задетый за живое, ни в чем не виноватый румын заявил, что выходить не стоит и что он готов драться тут же в ресторане. Но отец грозно перебил: "Здесь не место. Выйдем!" Как только они вышли, отец одним ударом уложил несчастную жертву. Произошел настоящий скандал. Нашлись свидетели, показавшие, что "Шалапин избил румынского офицера, что офицер был в форме и что оскорблена честь формы" и так далее. Значит, Шалапину не место в Румынии и петь в Бухаресте он уже не может, и концерты надо отменить. Еле уладили. После этого мамуля мне всегда наказывала: "Никогда не говори своему мужу, что кто-нибудь на тебя смотрит".

Однажды, когда мне было года четыре, мы шли парходом через Суэцкий канал. Отец стоял на борту, а мы с мамулей сидели в нашей каюте. Вдруг он врывается к нам, берет меня на руки, выносит на палубу и, как какое-то невиданное существо, демонстрирует находящимся на берегу людям: "Люди, люди, посмотрите на мою дочь! Это моя дочь!" Точь-в-точь, как с балкона авеню д'Эйло потому, что и там на него находили такие фантазии. Я очень боялась таких припадков демонстративной нежности, особенно перед незнакомыми людьми. Меня это ужасно смущало. Дети, как правило, всегда смущаются, когда родители с ними валяют дурака. Им становится стыдно за взрослых. Они не любят, чтобы с ними обращались, как с детьми, опускались до них, поддельвались под них. Им хочется самим казаться взрослыми, они не хотят, чтобы замечали их детскость. Такие игры кажутся им унижительными, недостойными их родителей. И вот отец никак этого не мог понять, вернее, даже не старался. Ему казалось, что раз такие вещи его забавляют, кажутся ему остроумными и смешными, такими они и должны казаться и другим.

К таким его забавам принадлежала, например, игра с тарелками. Сидим, бывало, в ресторане, все чинно, все спокойно, а он вдруг возьмет тарелку с хлебом, выложит хлеб на

стол, а тарелку — себе на лоб. Потом дернет головой и очень ловко тарелку поймает. Все смотрят, смеются, а я от стыда и отвращения готова сквозь землю провалиться: что за охота, чтобы тебя за шута принимали! Нормальные люди тарелок на голову не кладут. Все, конечно, знали, кто он такой, и прощали: почему бы не простить Шалапина такую чепуху? Но я, даже тогда, когда начинала понимать, кто он такой, шутки не могла понять и сторала от стыда.

Много у него было таких странностей и причуд. Едем куда-нибудь на автомобиле, а ему хочется за кустик зайти. По правде говоря — не все ли равно, за какой кустик? Лишь бы не было видно. Так нет! Ему еще и пейзаж подавай, да живописней. Кустика для Шалапина мало. Нужен кустик с пейзажем! "Нет, знаете, поедем подальше, здесь не красиво." И так проезжали по пять-шесть раз.

В один прекрасный день отец решил, что для внутренней гармонии шалапинского дома на д'Эйло нам непременно нужно купить орган. (Дом, кстати, был такой, что в него действительно можно было уместить орган). Эта "маленькая игрушка", как потом выяснилось, предназначалась для меня. Так он и убедил мамулю: "Дасе необходим орган!" Такие органы продавались в Голландии, куда он и послал заказ. Но здесь-то и выяснилось, что дома командовала мамуля и что без ее ведома и согласия ничего делаться не могло. Как это случилось, не знаю, но органное "предприятие" она очень умело отвела. Настолько умело, что мы вначале орган по-настоящему ждали, отец несколько раз о нем спрашивал, мать что-то ему отвечала, даже говорила, сколько послано задатка и какая фирма взялась его доставить. Но орган все не приезжал, и под конец отец о нем как-то позабыл и перестал спрашивать. Может быть, просто сообразил, что малость "зарапортовался", что орган дорог и никому не нужен, и был доволен в душе, что все окончилось благополучно и без публичного посрамления. Но я жалела, что так вышло: ни у кого из моих знакомых органа не было, и иметь такую штуку в нашем доме было лестно моему самолюбию. Сама же я напоминать отцу об органе не смела. Таков был наш с мамулей уговор: из-за любви ко мне отец был готов на все. Если бы я попросила Луну, он достал бы мне и Луну! И вот пришлось молчать и промолчать орган. А жаль!

Отец, действительно, совершенно безрассудно исполнял мои малейшие капризы. Так, однажды на д'Эйло — мне было года четыре — Мисадамис читала мне старинные английские стихи и сказки. И вот в одной из них рассказывалось, как двадцать четыре вороны сидели в большом пироге. Пирог был открыт, и внутри почему-то полон яиц. Я всегда любила крутые яйца и решила, что мне, наверное, готовится какой-то сюрприз. В это время в комнату попрощаться и пожелать мне спокойной ночи вошел отец. Я попросила его, не сейчас, но когда-нибудь достать мне крутые яйца. Он сразу же пошел на кухню и приказал повару Микадзе сварить мне вкрутую дюжину яиц! Яйца были тут же сварены и доставлены по назначению и, само собой разумеется, я ими объелась. Объелась так, что серьезно заболела и чуть не заплатила жизнью за эти две любви — отцовскую ко мне и мою к яйцам. Меня начало тошнить, и несколько дней я не могла ни есть, ни пить, и мне пришлось вливать искусственное питание через вены. Отцу, наверное, ничего не сказали, иначе разразилась бы очередная буря и досталось бы ни в чем не повинному Микадзе за то, что тот беспрекословно исполнял отцовские приказания. Выгнали бы, конечно, и Мисадамис. Ему, видимо, сказали, что у меня грипп или какая-нибудь детская болезнь. Меня же мутило и выворачивало: я даже пить не могла — сделаю глоток и все

сразу же обратно. Словом, было очень неудобно.

Насколько отец был равнодушен к воспитанию своих сыновей, совершенно не интересуясь тем, что они делают и как проводят время, настолько щепетильно-внимательно относился к нам, своим дочерям, придираясь иногда к совершенно незначущим пустякам. Когда же он бывал дома (хорошо, что не часто!), он как из-под земли вдруг появлялся в наших комнатах и производил инспекцию. Помню, как однажды он так ворвался к Марине, а у нее, как полагается, все было вверх дном, стол загроможден вещами, на стульях коробки, на полу какие-то тряпки. Ну, понятно, скандал: "Что за безобразие, своей комнаты убрать не может!", и пошел, и пошел. В другой раз — тоже из-за отца — уже раздеваясь, Марфа и Марина выскочили почему-то из своих комнат в коридор и в одних рубашках начали носиться в кухню и обратно. Новый скандал: "Что за бесстыжие девки?! Экое безобразие! В моем доме полуголые девицы бегают!" Никаких вольностей со стороны дочерей он не терпел. В его представлении мы должны были быть образцами нравственности и хорошего тона. Малейшее отступление от канонов приводило его в бешенство, переживалось им, как потрясение основ.

В штат эйловской прислуги входили, конечно, и повара. Но это была совершенно особая категория слуг. Первым из них был Андрей. Фамилию его я уже позабыла. Не прошло и месяца, как он заявил, что работы у нас для одного повара слишком много и ему нужен помощник. Нашли помощника, какого-то совершенно дикого чеченца, который с места в карьер возненавидел Андрея и заявил, что работать подповаром под его началом не будет. Крики и скандалы на кухне не прекращались. Как-то раз мамуля, отправившись для чего-то на кухню, застала их с ножами в руках, гоняющимися друг за другом вокруг стола. Прямо, как в голливудских фильмах! С той только разницей, что сцена происходила не для съемок, а всерьез. Мамуля так перепугалась, что во избежание смертоубийства рассчитала и того, и другого.

И вот тогда поступил к нам Микадзе. Замечательный повар и замечательный человек. Он оставался с нами все время, даже после смерти отца, когда мамуля объявила, что содержать повара уже не может, да он нам и не нужен. "Да и не надо, — ответил он. — Я по-прежнему буду у вас жить и работать, но совершенно даром." Так он и остался, занимая маленькую комнатку наверху. Почему ему нравилось жить и работать у нас, не знаю, так как он был довольно богатым человеком и сумел купить себе три квартиры. Правда, в то время квартиры не стоили так дорого, как теперь. А повар он был первоклассный, вроде Корнилова или французских — Оливье и Пуэна, чья "харчевня" в тридцати километрах от Лиона считалась чуть ли не лучшей в Европе. Но я его недолюбливала. С вершины своего поварского величия он обращался со мною, как с маленькой девочкой, подшучивал и всякие там — "тю-тю-тю" да "лю-дю-лю". А я ему: "Я вам не тю-тю-тю, а Дася Федоровна!" Мне уже было пятнадцать лет, и я считала, что пора мне быть Дасей Федоровной. Но он-то знал меня с трех лет!

Служил у нас еще такой осетин Борис Сикаев. Почему-то сложилось так, что вся наша мужская гвардия состояла из кавказцев! Сикаев был очень забавен: маленький, лысый, с черными юркими глазами. Чем-то напоминал генерала Пешкова. Когда у нас случался парадный обед — то есть очень часто — он наряжался в черкеску, надевал папаху, обвешивался патронташами, к поясу лихо привешивал "канджал" и в таком виде подавал к столу. Ради него одного стоило прийти на шалапинский обед!

В противоположность Микадзе, ко мне он относился почтительно и называл "Даха Федоровна". На их языке "даха" — красавица или что-то вроде. Он же учил меня свистеть по-осетински: нужно было свернуть трубочкой язык, чтобы получилось что-то вроде свиного крика — "ху-ху-ху". По-французски, кажется, очень неприлично, но почему — не знаю.

Михаил Шестокрыл-Коваленко подавал к столу и был еще чем-то вроде отцовского камердинера и костюмера: смотрел за костюмами, за гримом и другими театральными принадлежностями. Одевал и раздевал отца в театре, следил, чтобы все вовремя ему подавали и так далее. Он был далеко не моим героем и, как я потом узнала, плохеньким человеком. Ну, да Бог с ним. Потом была специфически домашняя прислуга, и главным персонажем среди нее был шофер. Он появился у нас после того, как мы в Италии купили себе Изотту-Фраскини и получили впридачу шофера. Это было в 1928 году, и в то время Изотта-Фраскини вместе с Роллс-Ройсом и Испано-Сюзой, считалась лучшей автомобильной маркой, а может быть, даже лучшей из трех, во всяком случае, самой большой. Это был настоящий паровоз! Наш шофер был механиком и специалистом по Изотте и раньше подвизался у какого-то знаменитого итальянского автомобильного гонщика. У нас он пробыл почти десять лет. Будучи итальянцем, он, конечно, приворовывал: насчитывал на бензине, на масле, придумывал несуществующие поломки и починки. И тоже, как итальянец, он был катастрофически влюбчив, заводил шашни со всеми дочерьми, особенно с Мариной, но не брезговал и моим малолетством, чуть ли не с моих десяти лет! Похож же он был на лягушку и вот -- нате -- вредные девчонки! — мы все вповалку были в него влюблены. Не знаю, как случилось, что столь опасная сентиментальная тайна осталась скрытой от отца. Мне даже сейчас страшно подумать, что было бы, если бы тайна открылась: он вышвырнул бы итальянца из окна, если бы не убил. Досталось бы и нам. Я же говорила, как он следил за нашей нравственностью и комильфотностью. Но отец ничего не узнал, и шофер остался и даже выучил нас водить, так что я уже с двенадцати лет довольно прилично водила нашу Изотту и шоферствовала на ней по Германии и по Австрии.

Надо еще вспомнить о наших друзьях Кастрицких, имевших предлинную спортивную Изотту, которым я очень завидовала, считая их Изотту более элегантной, чем наша. Управляла ею Люся Кастрицкая, дочь знаменитого зубного врача Кастрицкого. Она была замужем за неким Пельцером, очень богатым человеком, имевшим земли и плантации в Алжире. Они жили очень широко, имели яхту и даже собственный самолет, что в то время было большой редкостью. Люсю я очень любила, главным образом за то, что она обращалась со мной, как со взрослой.

Одно время жил у нас на д'Эйло некий мистер Клеридж. Он был довольно колоритным явлением, и вот как он к нам попал. Когда мы купили дом, Марфу и Марину отправили в Англию, учиться хорошим манерам в большую частную школу. Но им там очень не нравилось, метод воспитания был спартанский, зимой никогда не топили, и они отчаянно мерзли. Да и кормили соответственно: за завтраком и за обедом неизменный порридж, к которому они никогда не могли привыкнуть. Они все же пробыли там больше года и когда вернулись обратно, вместе с ними приехал и мистер Клеридж. Мне было тогда года три, а им, значит, тринадцать и четырнадцать. Клеридж должен был обучать их всему: от математики до латыни, не забывая гимнастику. Он был серьезным и порядочным человеком, но, будучи контуженным на войне, постоянно

нервничал и ругался с Мариной. А у Марины такой же характер, как у моей дочери Александры: "Моему нраву не перечь!" И вот однажды, давая Марине какой-то урок, он с ней поспорил. Слово за слово — дошло до того, что он ей выпалил: "Вы все большевики, вы, ваша семья и ваш отец!" Марина вскочила, схватила чернильницу и запустила в него, но, к счастью, промазала и угодила в стенку. Он же, защищаясь, схватил стол и уже замахнулся им на Марину — представьте себе картину! — но бросить не успел, потому что та, более проворная, швырнула в него стулом, который разлетелся о клериджский стол, как о щит! Шум и грохот неслись по всему дому: это учитель давал урок ученику! Кто-то прибежал на шум, и побоище было остановлено. Но Клеридж в сердцах заявил, что складывает чемодан и немедленно уезжает и, действительно, уехал.

Когда мы жили в Париже, отец обычно просыпался около десяти и звонил два раза. Это означало — хочу кофе. Потом, откушав кофе, — три раза, и это значило — хочу Дасю, и я должна была идти его поцеловать. Для меня, особенно в раннем детстве, целование было настоящим испытанием: кофе мне не давали, и его запах мне был неприятен, а от отца несло еще табачным перегаром и коньяком, что уже было по-настоящему противно, не считая его колющейся, еще не сбритой щетины. Но целовать приходилось, и я целовала, не дыша. И каждый день, когда он был дома, повторялась все та же процедура: два звонка — хочу кофе, три — хочу дочь!

Затем он вставал и отправлялся мыться. Душа не было, а ванну он презирал, но так как он мылся очень тщательно, с ног до головы, то мытье продолжалось очень долго. Потом он проходил к себе и одевался, всегда элегантно и с большим вкусом. У него была одна очень оригинальная, самая его любимая булавка для галстука. Кстати, у кого она может быть, так как по праву принадлежит мне. Головка булавки изображала маленький синий кувшин, он был сделан из сапфира с окружающими его бриллиантками. Когда он ее надевал, то мне говорил: "Вот видишь, я всегда ее ношу, потому что в кувшинчике твоя слеза. Даже когда надеваю другую, эта у меня в кармане." Кувшинчик с "моей слезой" был его амулетом. Где эта булавка и у кого? Она принадлежит мне по праву слезы.

Когда он был уже одет, приходила мамуля и появлялся Микадзе, и начинались трудные прения по обсуждению очередного меню, что купить на ужин, что на обед и чего сколько — ведь почти всегда за стол садилось около двадцати человек!

ИСКУССТВО ШАЛЯПИНА

О театральных нравах отца слишком много писали и еще больше рассказывали. Вокруг его отношений к артистам, хористам, музыкантам и другим театральным деятелям сложились целые легенды. В них много правды, но и столько же фантазии — каждый рассказывал на свой лад, нажимая на те из педалей, которые казались ему наиболее выразительными. Расскажу несколько эпизодов и я, из того, что видела сама и из того, что рассказывала мамуля и сестры. Все же будет из первых рук.

Директором театра в Монте Карло был некий Рауль Гинзбург, милый человек и большой приятель отца. В театральном мире он считался важной личностью, хотя внешне напоминал полишинеля: маленький, круглый и с круглым

носом. Он часто у нас завтракал и обедал, и я его очень хорошо знала. С самым серьезным видом он меня уверял, что он — Калиостро и даже Наполеон. Разумеется, никто об этом не догадывается, но он, Гинзбург, знает это досконально: в предыдущем воплощении он был Наполеоном, перед этим — Калиостро и еще раньше — Нострадамусом. И вот однажды, в директорство Гинзбурга отец пел в Монте Карло — точно не помню — то ли "Дон Кихота", то ли "Сальери". На премьере присутствовал проживавший в то время в Монако шведский король-теннисист Густав Пятый. Дирижировал же, теперь знаменитый на весь мир, но тогда лишь блестяще начинавший карьеру Фистуляри, двадцати с чем-то летний молодой человек. Наверное, он очень волновался, тем более, что не мог не знать про театральные строгости отца. А тут еще впридачу — шведский король! Но первый акт прошел вполне благополучно и должен был бы придать бодрости молодому дирижеру, но случилось как раз наоборот, и во время второго акта Фистуляри вдруг застыл, так, ни с того ни с сего, с дирижерской палочкой в руке. Словно его мумифицировали! Остановились и музыканты, наверное, решив, что так и полагается, что Фистуляри придумал какой-то новый трюк. А в зале — король, свита, публика и... полнейшая тишина.

Отцу как раз надо было петь соло. Он посмотрел, видит, что ничего не действует и вдруг, словно так и полагалось, подошел к оркестру, стал им дирижировать и петь свою арию. Все сразу оживилось, запело и заиграло, как будто ничего и не произошло. Один лишь Фистуляри продолжал стоять, а отец дирижировал и пел, пока тот не пришел в себя и не начал управлять оркестром, кстати, совершенно замечательно. Восторгам и аплодисментам не было конца. Когда же спросили короля — как ему понравился спектакль, он ответил, что очень, что ни разу в жизни он "так не забавлялся, как в этот раз".

Гинзбург, за кулисами, чуть не умер от разрыва сердца.

В том же Монте Карло отец как-то пел Сальери. И вот, за несколько минут до выхода на сцену, заметил, что кружева на костюме были не настоящие. Относился же он к театральным костюмам с предельной требовательностью и требовал, чтобы все было настоящим и никакого эрзаца. И вот ему подсунули фальшивку! Уже начали поднимать занавес, а отец — на своем: "Не выйду в фальшивых кружевах! С фальшивыми кружевами петь нельзя!" За костюмами следил Михаил Шестокрыл-Коваленко: "Федор Иванович, публика ждет, надо выходить." "Не пойду! Ухожу! Вон отсюда!" Бедный Михаил подбежал к двери и заслонил ее своим дрожащим телом: "Не пройдите! Не пушу!" Во что бы то ни стало надо было заставить отца надеть злополучный костюм. А он расходился все больше и больше, и, наконец, размахнувшись, хотел ударить бедного Михаила. Но тот был маленьким и юрким, успел отскочить, а отец со всего маху угодил в дверь, наверное, сделав себе очень больно, так как тут же пришел в себя. На шум прибежал Гинзбург и, увидев в чем дело, бросился на колени и завопил: "Федя, ради Бога, пой!" И валялся в ногах до тех пор, пока отец не пошел петь. Так окончился "кружевной" скандал. Отец арию спел, но, вернувшись в ложу, велел Михаилу тут же выбросить злополучный костюм.

В Америке случилось совершенно обратное. Отец пел Дона Базилью и подчеркнуто щеголял торчащим из кармана грязным носовым платком. Кажется, даже, для большей убедительности, несколько раз вытягивал его из кармана и делал вид, что сморкается. На следующий день во всех газетах: "Неужто Шаляпин не имеет возможности хоть для сцены иметь

чистый носовой платок?" А один очень в то время известный театральный критик даже писал: "Спектакль был больше, чем замечательным, и Шаляпин превзошел самого себя. Но как же он не обзавелся чистым носовым платком? Какое неуважение к публике! Разве она не достойна чистого носового платка?" Читая рецензию, отец даже не возмущался: "Бездарные лошади! Шаляпин может купить чистый платок, а вот Дон Базилью наверно не мог!"

Как-то в Ляболе — мне, наверное, было года три — надевая на меня туфли, няня заметила, что они мне вроде бы жмут. Она взяла туфлю, дала ее мне и сказала: "Пойди к папе и скажи, что ножка выросла". Конечно, сразу же купили другие, а эту, ставшую мне маленькой, отец взял себе и никогда с ней не расставался. Она превратилась для него во что-то вроде амулета. Сплюсненной, он носил ее в бумажнике. И вот, однажды, в Нью-Йорке туфелька пропала, осталась в бумажнике, каким-то образом забытом в такси. Что было! Опять: "Без туфельки не буду петь! Поступайте, как хотите! Без туфельки во время концерта непременно что-нибудь случится!" Слава Богу, поднявший всех на ноги Юрок туфельку как-то достал и концерт состоялся.

Для меня отец был как бы двумя разными личностями: на сцене одной, в жизни другой. Когда я смотрела "Бориса Годунова" — существовал Борис Годунов, а не мой отец, Федор Иванович Шаляпин. Я ни на минуту не задумывалась над тем, что происходит игра и что играет, создает ее мой отец. Когда умирал царь Борис или Дон Кихот, я горько плакала. И жаль мне было не отца, а царя Бориса и рыцаря Дон Кихота. Если бы даже случилось, что на сцене кто-нибудь из них по-настоящему умер, я не знаю — пришла бы мне сразу мысль, что ведь, в сущности, умер отец.

И в этом-то и состояло его искусство. Потому что для него, для Шаляпина, не существовало ни смешений, ни перевоплощений. Они существовали для публики, но для того, чтобы публика поверила в реальность Бориса Годунова или Дон Кихота, он, Шаляпин, всегда должен был быть начеку, контролировать свой малейший жест, каждое движение, всегда оставаться Шаляпиным и никогда не забывать, что он только играет роль. А роль — это его выдумка, реальность же — он, играющий роль. Таковым было его искусство. Сколько раз я слышала, как он учил актеров: "Если хотите стать хорошими актерами, ради всех святых, не переживайте свою роль! Часто пишут: "Ах, как он замечательно играет, как он глубоко переживает свою роль!" Все это вздор, и дело обстоит как раз наоборот: если актер действительно хорошо играет, это значит: он хорошо понимает роль, контролирует свои движения, не забывается, не переживает. Никогда не следует переживать, могут случиться настоящие катастрофы: начнешь рыдать, а платка нет, да и грим может потечь. Будешь изображать насморк — потечет нос, а платка опять нет, сморкаться не во что, во рту будет полно соплей и петь нельзя..." и так далее, и так далее. А что случится, если изображая дуэль на шпагах, войдешь в раж? Можно по-настоящему партнера убить или ранить!" Кстати, так однажды случилось с отцом. Он рассказывал, как еще в России, в одной из таких сцен, его партнер так "вошел в роль", так ее переживал, что по-настоящему пырнул его шпагой.

Совсем другим переживанием было видеть отца за сценой, в его уборной, в театральном костюме, с блестящим от пота и грима лицом. Впечатление создавалось незабываемое.

Здесь уже не существовало ни Бориса, ни Дон Кихота: реальностью была театральная фикция; тот, другой мир, тоже не повседневный, но столь же осязаемый, к которому тоже ведь принадлежал отец. Он меня обнимал, прижимал, целовал, а от него несло табачным перегаром, потом и театром! Я еле сдерживалась, чтобы не вырваться и не убежать, незаметно вытираясь, чем могла. Но вместе с тем это было совсем не то неприятное чувство, с каким я целовала его по утрам. Присматривалось что-то другое, не только отталкивающее, но и привлекающее. Было что-то настоящее в этом чувстве, даже страшное и поэтому завлекающее. Быть может, мне передавалась часть отцовских переживаний, быть может, действовала эта совершенно особенная, непередаваемая атмосфера театральных кулис, их специфический кулисный запах. Кулисы вообще замечательно пахнут: костюм, грим, пот — такого нигде больше не встретишь.

Вот и пароход, у него ведь тоже незабываемый запах. Даже теперь, спустя целую жизнь — ведь у меня тридцатилетний сын! — когда теперь мне случается попасть за кулисы или на пароход, я сразу проваливаюсь в детство, в Монте Карло, в Лос-Анджелес, в "Нормандию", в какой-нибудь там "Нагасаки-Мару". Все это — незабываемые запахи, неумирающие картины.

(Продолжает следует)

читайте журнал



МИР



ПОДПИСНОЙ КУПОН

ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЖУРНАЛ "МИР"

ИМЯ, ФАМИЛИЯ

АДРЕС:

ПОЧТОВАЯ ЗОНА (ЗИП КОД)

ПОДПИСКА НА 1984 ГОД — ДЛЯ США — 24 ДОЛЛАРА,
ДЛЯ ВСЕХ ДРУГИХ СТРАН — 28 ДОЛЛ.

ЧЕК ИЛИ МАНИ-ОРДЕР СЛЕДУЕТ ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ:

PEACE INC. P O B 6162, PHILADELPHIA, P. A. 19115. USA

РУССКАЯ МЫСЛЬ

**КРУПНЕЙШАЯ РУССКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НА ЗАПАДЕ.
ВЫХОДИТ С 1947 ГОДА.**

Новости из Советского Союза и материалы Самиздата.
Публикации в защиту гонимых.

Анализ политической ситуации в мире. Регулярные публикации материалов о борьбе с коммунизмом. Лучшее в западной прессе освещение событий в Польше.

Постоянные обзоры войны в Афганистане.

Проза. Поэзия. Публикации забытых и редких произведений.

Рецензии на книжные новинки и журналы. Мир искусства.

Жизнь российского зарубежья.

«Русская мысль» выходит по четвергам в Париже.

Подписная плата на год

| | Обычной почтой: | | |
|----------------------|-----------------|--------|---------|
| | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
| Франция | 74 фр. | 138 | 265 |
| Все остальные страны | 107 | 204 | 397 |

| Воздушной почтой: | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| Европейские страны. | | | |
| Северная Африка | 119 | 228 | 445 |
| США и Латинская Америка. | | | |
| Южная Африка | 146 | 281 | 530 |
| Австралия. | | | |
| Япония, Китай | 150 | 290 | 570 |
| Израиль, Иран | 125 | 240 | 468 |

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р.М.» под редакцией А. М. Некрича.

**Адрес редакции: 217, rue Faubourg St. Honore, 75008 Paris.
Телефоны: 563-94-47, 563-21-83.**

Трое русских в Конгрессе США

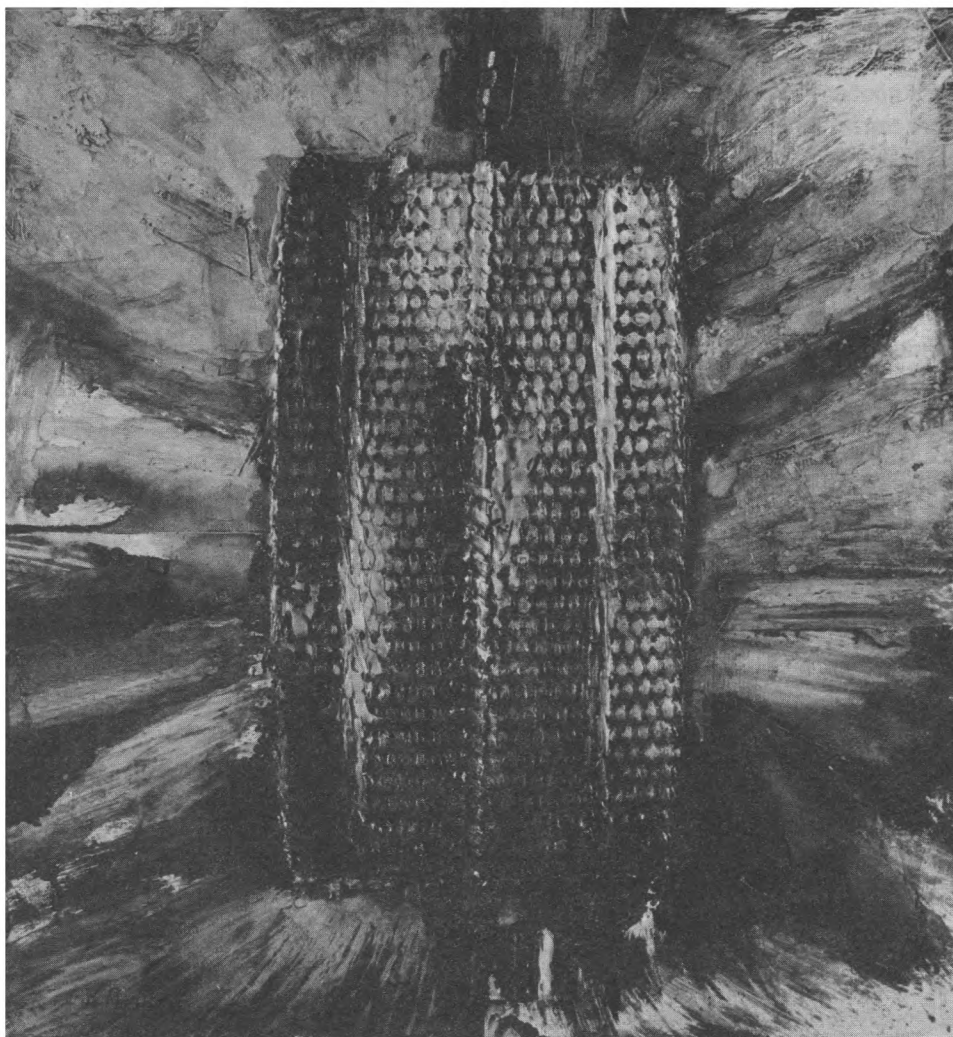
Выставки неофициального русского искусства в Вашингтоне, на Капитолийском холме, видимо, становятся традиционными. Напомню, что летом прошлого года в здании Сената и Конгресса США состоялась большая экспозиция неофициальных русских живописцев, которую посмотрело свыше двух тысяч зрителей и которую широко и благожелательно освещали американская пресса и телевидение.

И вот сейчас в американском Сенате в зале Cannon Rotonda с 4 по 29 сентября снова проходит русская выставка. Правда, на этот раз локальная. На ней демонстрируется 19 картин трех мастеров: покойного Евгения Рухина, ленинградца Глеба Богомолова и Владимира Овчинникова. Выставка эта организована по инициативе коллекционера Людмилы Кузнецовой, которая, выступив на вернисаже, рассказала о творчестве этих трех художников и напомнила собравшимся о том, что в нынешнем сентябре исполняется десять лет со дня "бульдозерной выставки" в Москве.

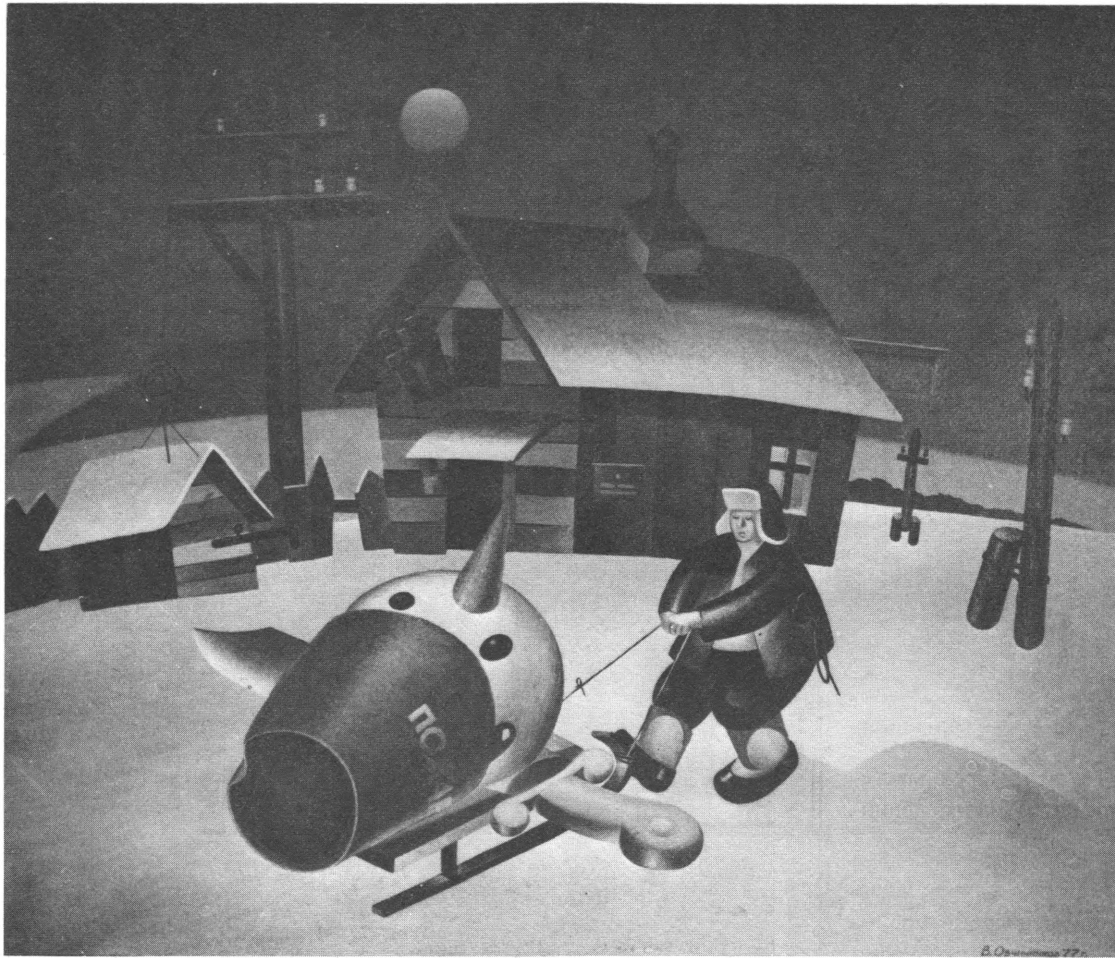
Кстати, этой юбилейной дате посвящены две выставки, открывшиеся 15 сентября по обе стороны Атлантики, экспозиции "Десять лет назад" в Музеях современного русского искусства в изгнании в Монжероне и Джерси-Сити. В этот же день в парижской "Галерее Мари-Терез" открылась выставка с участием Оскара Рабина, Владимира Немухина, Михаила Шемякина, Валентины Кропивницкой, Вячеслава Савельева, Александра Рабина, Владимира Титова и Наталии Якуниной. А спустя два дня в Западной Германии, неподалеку от Дортмунда, состоялся вернисаж экспозиции О. и А. Рабиных. В США, в Бостоне, в Массачузетском колледже искусства в сентябре прошла персональная выставка Виталия Комара и Александра Меламида.

Урожайный для свободного русского искусства выдался нынешний сентябрь.

Александр Глезер



Евгений Рухин. "Композиция", холст/см. тех., 1974



Владимир Овчинников. "Давид и Голиаф", холст/масло, 1977

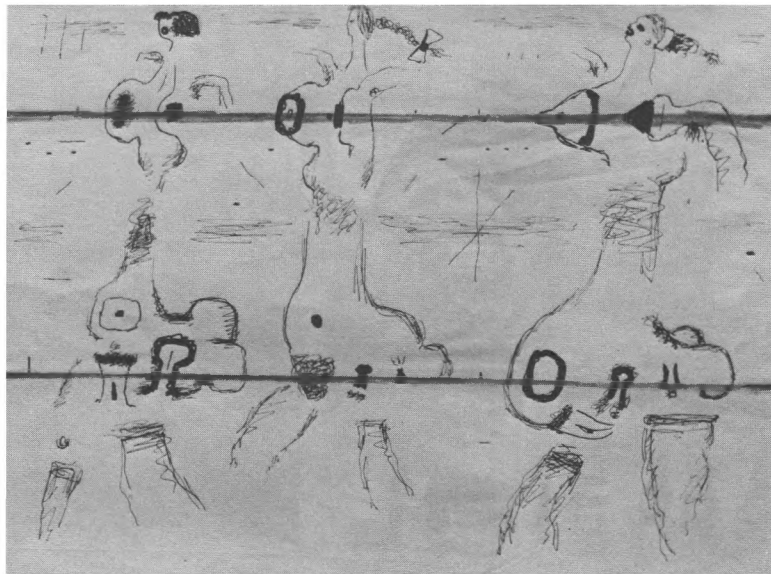


Глеб Богомолов.
"Фантом-4",
холст/масло, 1972

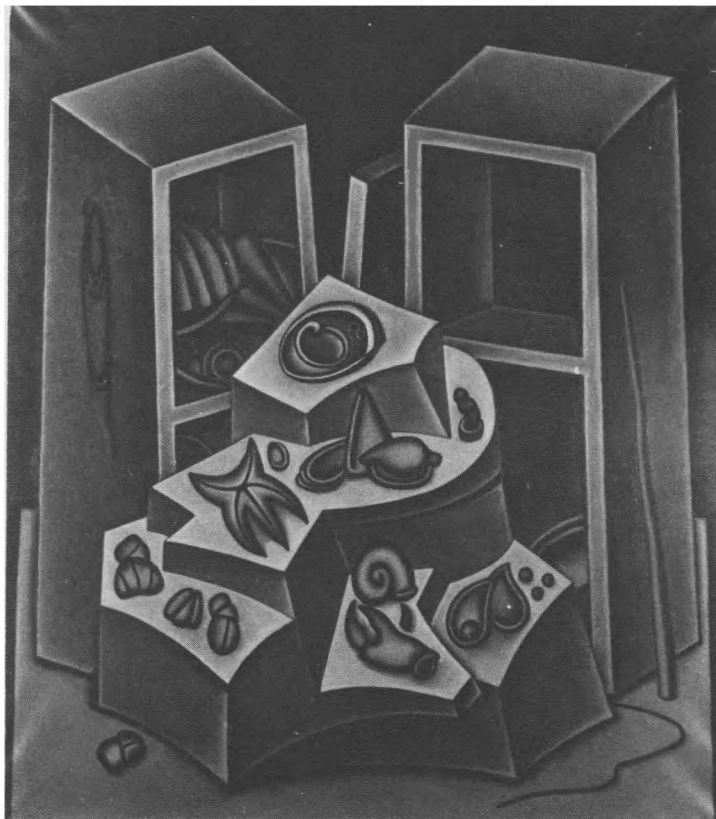
Семнадцать русских в Пенсильвании

Вот уже третий раз за последние три года в Пенсильвании состоялась экспозиция неофициального русского искусства. Ныне – с 11 сентября по 5 октября – она проходила в выставочном зале колледжа "Франклина и Маршалла" в городе Ланкастер, а работы для нее предоставил Музей современного русского искусства в изгнании в Джерси-Сити. На этой выставке демонстрировались картины, рисунки и гравюры семнадцати художников, представлявших разные тенденции, существующие в свободном русском искусстве: экспрессионизм, фантастический реализм, абстракционизм, метафизический синтетизм, концептуализм. Полотна Бориса Свешникова и Вячеслава Калинина, Дмитрия Краснопевцева и Владимира Овчинникова, Олега Целкова и Виталия Длуги, рисунки Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского и Ильи Кабакова, акварели Олега Лягочева и произведения других мастеров вызвали большой интерес у любителей живописи, и уже поступило предложение показать эту экспозицию в ряде американских университетов и колледжей. Газета "Ланкастер Санди Ньюс" откликнулась на выставку большой и позитивной статьей, которую проиллюстрировала репродукциями работ Б. Свешникова, Э. Неизвестного, Д. Краснопевцева, И. Киблицкого и А. Рабина.

А. Давыдов



Владимир Янкилевский. "Афродита на прогулке",
бумага/см. тех., 1970



Дмитрий Краснопевцев. "Натюрморт с морскими звездами", холст/масло, 1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ТА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ТА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПОТАЕННЫЙ
ПЛАТОНОВ

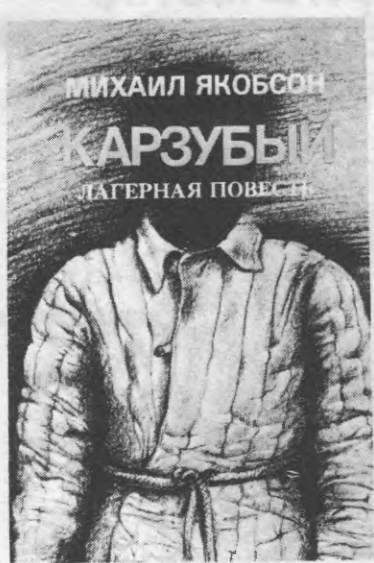
Сборник неизвестных и малоизвестных рассказов писателя. Составитель и автор предисловия профессор Михаил Геллер.

180 стр. \$10.00

Чeki и денежные переводы
просьба направлять по адресу:

ALEXANDER GLEZER
286 Bartow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ



Острый сюжет и выразительный язык повествования — вот, что отличает эту книгу.

117 стр. \$6.00



Остроумные и язвительные воспоминания известного карикатуриста, который ныне находится в советском концлагере.

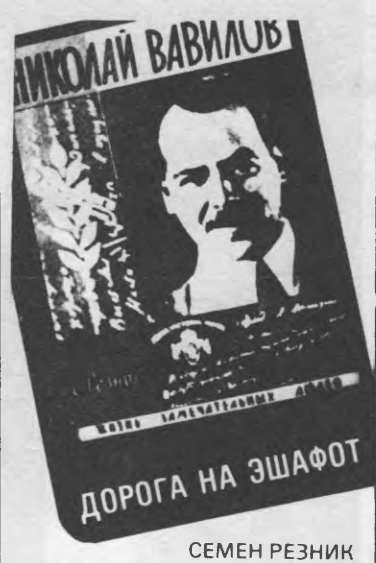
96 стр. \$7.00



”Панорамный и телескопический роман, свидетельствующий о жизни советской интеллигенции”

(В. Аксенов)

313 стр. \$17.50



СЕМЕН РЕЗНИК

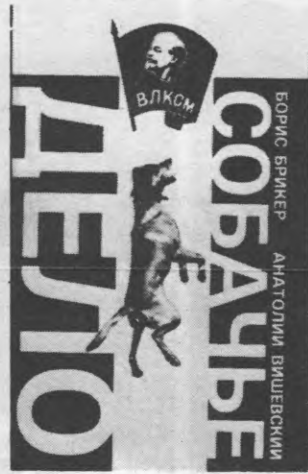
Книга о жизни и смерти академика Вавилова.

127 стр. \$8.00



”Козловский, безусловно — восходящая звезда новой русской прозы”. (В. Аксенов).

198 стр. \$8.00



Талантливая и веселая книга о собаке, решившей эмигрировать в Израиль.

117 стр. \$6.00



Мистические стороны бытия — главная тема творчества талантливого русского писателя.

96 стр. \$6.00



Юрий Гальперин

Талантливая повесть о жизни ленинградской интеллигенции, о превращениях любви и творческой одержимости.

96 стр. \$7.00

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 13



В. Аксенов, А. Глезер, Б. Календарев, Е. Козловский и др. 96 стр. \$6.00

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 14



Ф. Берман, Ю. Кублановский, С. Петрунис, Е. Шварц, С. Юрьен и др. 96 стр. \$6.00

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 15



Д. Бобышев, Л. Лосев, А. Платонов, В. Сысоев и др. 96 стр. \$6.00

Чеки и денежные переводы

просьба направлять

по адресу:

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC. 799 BROADWAY, NEW YORK, NY 10003 U.S.A